

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 50

1984



*Мария АНГАРСКАЯ*

ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ  
ЖИЗНЬ

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 50

---

Мария АНГАРСКАЯ

# ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

*Воспоминания о Всеволоде ВИШНЕВСКОМ*

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1984

## Мария АНГАРСКАЯ

Мария Николаевна Ангарская родилась в семье профессионально-революционера, активного участника трех революций, известного издателя, редактора Н. С. Клестова-Ангарского.

В 1937 году Ангарская окончила химический факультет Московского государственного университета. Некоторое время работала по специальности, затем стала заниматься популяризацией науки. Четыре ее книжки, выпущенные Политиздатом, издательствами «Московский рабочий» и «Знание», посвящены химии и тем ученым, которые занимаются этой наукой.

Более тридцати пяти лет Мария Ангарская сотрудничает в центральной прессе. Ее очерки о людях промышленности, науки, культуры вошли во многие сборники.

Почти тридцать лет она систематически печатается в «Огоньке», пишет об участниках комсомольских ударныхстроек Сибири, ведет там большую общественную работу по воспитанию молодежи в духе революционных традиций, за что ей присвоено звание Почетного строителя Усть-Илимской ГЭС.

На своем жизненном пути Марии Ангарской довелось встречаться со многими интереснейшими людьми. Она хорошо знала Стасову, Луначарского, Землячку, Бонч-Бруевича, академиков Иоффе, Тарле, Несмеянова, писателей Серафимовича, Новикова-Прибоя, Тренева, Булгакова, Тихонова, Фадеева, Берггольц и других. Некоторые ее воспоминания об этих встречах опубликованы в различных сборниках.

Публикуемая книга посвящена Всеволоду Вишневскому.

И я Тобой становлюсь, Эпоха,  
И Ты через сердце мое говоришь.

*Ольга Берггольц.*

## ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

Январь 1944 года. Пустынная, занесенная снегом Москва. Окна заклеены крест-накрест бумажными полосами, а большинство просто забиты фанерой. В военном облике столицы ощущается строгая торжественность.

Писатели, журналисты, приехавшие на короткое время с фронтов, часто в своих квартирах жить не могли. Они были разрушены, с выбитыми окнами, протекшими трубами, обледеневшие и осиротевшие, совсем непригодные для жилья. И потому многие военные корреспонденты останавливались в гостинице «Москва». Здесь было шумно, многолюдно, обсуждались фронтовые новости, сводки Совинформбюро, оперативно писались корреспонденции, публицистические статьи, очерки.

Как-то, зайдя в гостиницу, я встретила в коридоре Николая Семеновича Тихонова — художника, стремительного, с горящими глазами. Он только что приехал из осажденного Ленинграда. Мы очень обрадовались встрече.

Я познакомилась с Николаем Семеновичем, будучи совсем еще девочкой. Мой отец, Н. С. Клестов-Ангарский, один из представителей ленинской гвардии, издатель, редактор, критик, напечатал в двадцатых годах в альманахе «Недра», который он возглавлял, стихи молодого Тихонова. Отец сразу распознал большой талант Н. С. Тихонова и относился к нему с особой симпатией.

Свою глубокую привязанность к Николаю Семеновичу Тихонову отец по наследству передал мне.

Возникшую дружбу удалось пронести через всю жизнь. Общалась я с Тихоновым и в Москве и в Ленинграде, совершала с ним вместе восхождения на вершины его любимого Кавказа, слушала незабываемые тихоновские рассказы, участвовала в его интереснейших застольях.

Мы давно не виделись, и теперь, встретив Николая Семеновича в гостинице, я пригласила его к нам домой. Он охотно согласился: «Приду, и не один. Приведу нашего знаменитого ленинградца Всеволода Вишневского».

Встречу назначили на 27 января. За столом писатели много рассказывали о Ленинграде, о его мужественных людях. Неожиданно нашу беседу прервало радио: сообщалось, что советские войска освободили Мгу. Блокада Ленинграда была окончательно снята.

Мои гости соединились по телефону с городом на Неве, передали поздравления ленинградским друзьям. Затем Тихонов и Вишневский перешли в другую комнату, сели за письменный стол и написали статью «Да здравствует Ленинград!» Она сразу же была передана в редакцию «Правды» и опубликована за двумя подписями.

В доме нашлась припасенная для победного дня бутылка шампанского, Вишневский произнес тост: «За скорейший, окончательный разгром фашистов, за мирную прекрасную, всепобеждающую жизнь!»

Надо сказать, что в начале вечера Всеволод Витальевич держался несколько замкнуто, говорил скупо. После сообщения Совинформбюро о снятии блокады настроение Вишневского резко изменилось. Он стал оживленным, весело шутил, увлеченно и обстоятельно рассказывал о продвижении наших войск на запад. А потом, обратившись ко мне, сказал: «Я очень рад, что день нашего знакомства озаменован успешной операцией на Ленинградском фронте. Хорошая примета! Думаю, мы обязательно подружиться». Тогда я не придавала значения этим словам. Но в дальнейшем убедилась, что предчувствие Всеволода Витальевича было верным.

Помню, как в один из февральских дней 1944 года Всеволод Витальевич пригласил меня в Камерный театр на премьеру спектакля «Раскинулось море широко». Пришли писатели, актеры, критики, военные, словом, московская интеллигенция, публика чрезвычайно требовательная, придирчивая. Вишневский волновался. Его беспокоило, как примут спектакль.

Однако опасения оказались напрасными. Пьеса сразу захватила зрителя. Аплодисменты раздавались даже во время действия. Всеволод Витальевич напряженно следил за игрой актеров. Он всецело был поглощен происходящим на сцене. И, наверное, всеми своими мыслями был с теми, кого играли актеры,— защитниками Ленинграда.

В антракте Вишневский познакомил меня с Александром Таировым, Алисой Коонен. С радостным волнением принимали они поздравления.

У Таирова с Вишневским сложились давние близкие творческие отношения, еще с тридцатых годов, когда в Камерном театре была поставлена «Оптимистическая трагедия», в которой Комиссара играла Коонен.

Таиров очень считался с мнением Вишневского. Одно время, после войны, Всеволод Витальевич был даже литературным консультантом Камерного театра. Но бывали у них и расхождения. Вишневский

убеждал Таирова активной, более чутко относиться к современной драматургии, смелей внедрять новое, призывал к поиску более современных форм сценического воплощения. Конечно, далеко не всегда все воспринималось безоговорочно. Возникали иногда у них споры. И все же порой, даже в очень горячих спорах, рождалась истина!

...После спектакля Вишневский, радостный, взволнованный, возбужденный успехом, рассказывал о том, как зарождалась пьеса.

В августе 1942 года вызвали его в Военный совет КБФ и говорят:

— Товарищ Вишневский, надо написать для Музыкального театра что-то наподобие оперетты-комедии. Но чтобы это было героическое — ленинградское. Необходимо хоть немного поднять настроение людей, вызвать улыбку.

— Позвольте, — отвечал Всеволод Витальевич, — я ведь никогда не писал ни оперетт, ни комедий...

— Ну и что ж, не писали, а теперь создалась такая обстановка, что оперетта и комедия будут также метким оружием. Надо написать. Срок даем месяц, ибо к седьмому ноября, двадцать пятой годовщине Октября, должна состояться премьера.

— Человек я военный, дисциплинированный. «Есть, товарищ контр-адмирал», — и пошел прямым ходом в театр. В тот день шла оперетта «Роз-Мари». Бомбежка была страшная, но актеры продолжали играть, а я — смотреть разные канканы, слушать опереточные арии. Старался вызвать в себе хоть какие-то эмоции, расшевелить, так сказать, творческое воображение. И понемногу эта оперетта, казалось бы, столь чуждая мне, все же как-то захватила и даже, пожалуй, развеселила.

Однако тревожная мысль меня не покидала. Как же справиться с заданием за месяц, от силы полтора, написать пьесу, при том, что надо выполнять текущую работу, выезжать в военные части, выступать, писать статьи, листовки, работать в Радиокomiteе? И все это надо делать в голодном, замерзшем Ленинграде.

Где же взять легкость, задор, шуточный тон? Знаете, как вспомню, так даже сейчас оторопь берет, — признавался Вишневский. — Позвал к себе Александра Крона и Всеволода Азарова, говорю им: «Ребята, придется нам за месяц написать героическую комедию с песнями, шутками, и чтобы было о Ленинграде, о защите нашего города. Вот так!»

— Ты что, разыгрываешь? — спросили товарищи.

— Никаких шуток. Задание Военного совета.

— Да, но ведь это не листовку писать, а пьесу, то есть создавать драматургию. Это невозможно!

— Это задание Военного совета КБФ, и нам надо не рассуждать, а выполнять. Не забывайте,— напомнил я товарищам,— что мы на войне, а не на диспуте в Союзе писателей. Завтра в девять часов утра начинаем.

И, представьте себе,— продолжал вспоминать Вишневский,— как-то сразу нашли творческий контакт, обсудили сюжет пьесы, наметили образы. И вроде пошло на лад. Главное, поняли, что справимся. Работа нас подбадривала, а когда придумывали забавные положения, реплики, то сами хохотали до упаду. Да еще пританцовывали так, что половицы дрожали!

Вишневский обо всем рассказывал увлеченно, ему было особенно дорого вспоминать это сейчас, после такой успешной премьеры в Камерном театре.

— Работала наша тройца стремительно, ведь сроки поджимали. Пьеса окончательно «проклюнулась» от мгновенно осенившей идеи дать флотскую песню «Раскинулось море широко» в драматургическом решении. Трудились главным образом вечерами при свечах, но и их было мало, приходилось экономить. А когда догорала свеча, не сдавались, начинали жечь шнурки от ботинок... Чем дальше работали над пьесой, тем больше она нас захватывала.

Решили, чтобы подхлестнуть друг друга, выпускать ежедневный «боевой листок», назвали его в шутку «военное соединение трех авторов». Вставляли в этот листок острые шпильки друг другу. Чаще всего попадало бедному Всеволоду Азарову, от которого требовалось быстро и озорно сочинять то грустно-лирические, то веселые куплеты. Саша Крон ранним утром подходил к спящему Азарову, стягивал с него одеяло и начинал поддразнивать: «Вставай скорей, истомилась твоя возлюбленная» (подразумевалась героиня пьесы). Азаров огрызался, натягивал одеяло, бормотал, чтобы дали выспаться, но мы с Сашей были неумолимы. Всеволод хватался за голову и начинал выдавливать из себя необходимые куплеты. Порой у него они получались совсем неплохо. И тогда к вечеру в нашем боевом листке воздавалась ему заслуженная хвала.

— А вот сейчас вы изволили видеть результат нашей работы. И я заметил по выражению лица, что «Раскинулось море широко» дошло до вас, взволновало. Я был доволен реакцией зрителей. Значит, не зря мы так напряженно трудились, голодающие и замерзающие, в темном, осажденном Ленинграде.

Долго мы беседовали в тот зимний вечер, прохаживаясь по Тверскому бульвару. Заснеженные деревья, освещенные фонарями, казались вышедшими из сказки. Слово в вихревом танце кружились снежинки, тихо оседа на плечи, воротники, ресницы. Удивительно хорошо было бродить по дорожкам бульвара. Беседа наша была столь увлеченной, что, несмотря на поздний час, не хотелось ее прерывать...



...Спустя несколько дней после этой премьеры Вишневский снова пригласил меня в Камерный театр. Теперь уже на читку новой своей пьесы — «У стен Ленинграда», которая была написана тоже во время блокады. В уютном мраморном зале театра собралось столько актеров, что многим пришлось стоять.

Я не раз слышала, что Вишневский читает свои произведения очень выразительно, темпераментно, но впечатление превзошло все мои ожидания.

Сначала он волновался, но потом настолько перевоплотился в своих героев, что, казалось, вместе с ними участвует во всех событиях. Но в этом не было ничего искусственного, актерского, он оставался самим собой, искренне мучился, страдал, негодовал, врался в бой, сжимал кулаки, и порой слезы катились по его щекам. Автор так заражал своей интонацией, своей одержимостью, что невозможно было не переживать вместе с ним. А в том месте, где моряки, покидая казарму, уходят на передовую, Вишневский зашел: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой», — кто-то из актеров подхватил эту песню... И Вишневский продолжал читать уже на таком накале, что не было ни одного человека в зале, которого бы не захватила трагедийность пьесы.

Потом в кабинете А. Я. Таирова Всеволод Витальевич говорил о том, что его пьеса — первый отклик на оборону Ленинграда, отклик, как говорится, по горячим следам. Оборона Ленинграда — это огромнейшая тема. Чтобы воплотить ее, может быть, не хватит и совместных усилий тех писателей, которые работали в осажденном городе. А может быть, один, еще неведомый нам, напишет о героической трагедии города. Война, продолжал Вишневский, несомненно даст толчок искусству, литературе, двинет их вперед!

Александр Яковлевич Таиров уже зримо видел будущий спектакль.

— Я воспринимаю твою пьесу как своеобразную сценическую симфонию, которая несет большой героико-драматический смысл, — говорил он Вишневскому. — И, конечно, актеры должны донести до зрителя твой боевой дух, твою гражданственность, страстную убежденность, которые так ярко проявляются в твоей драматургии! Завтра начинаем репетиции, и через два-три месяца приглашаю на премьеру, — подытожил Таиров.

Когда мы вышли из Камерного театра, я спросила Вишневского, как ему удастся перевоплощаться в каждого своего героя, почему он так обостренно все переживает.

— Вероятно, это идет от моей повышенно-эмоциональной природы, от моей веры, от моей правды! — отвечал он. — Литература и один из ее жанров — драматургия — только тогда достигают цели, когда все — правда, когда все — абсолютное откровение. Я всегда стремлюсь к обнаженной правде, срашной, прекрасной, подчиняющей

и побеждающей людей! Человек все-таки находит утешение в высших проявлениях духа, в жертве, вере, подвиге, мечте о будущем...

..На Вишневского в свое время большое влияние оказал Горький, который советовал молодому драматургу учиться у гоголевской прозы с ее вдохновенными, взволнованными авторскими монологами.

Тогда еще, в самом начале тридцатых годов, Вишневский обратился к греческой классике. Эсхил и Софокл были им прочитаны и глубоко продуманы. Вишневский много размышлял, проверяя свое отношение к трагедии, и пришел к таким выводам:

«Беспримерные образцы греческой, германской, английской трагедии будут перекрыты образцами нового искусства — оптимистическими трагедиями. Это грядущий, всечеловеческий Ренессанс! И в бесклассовом обществе, — был убежден Вишневский, — жизнь будет построена отнюдь не на одних улыбках, страсти никогда не будут сняты. Верю в тему преодоления борьбы и дерзания людей!..»

— Я чувствую, что вас удивила моя манера чтения? — продолжал Вишневский. — Скажу по секрету, иной раз мои драматургические огрехи не замечаются во время авторского чтения, ступеньваются. Потом только всплывают наружу. Конечно, я этим не злоупотребляю. После выверяю с режиссером весь текст до последнего слова.

Помню, пригласил я члена Военного совета Балтийского флота контр-адмирала Смирнова на читку моей пьесы в июне сорок третьего. А адмирал отвечает: «Извините, но на вашей читке не буду, сам прочту, с карандашиком. Когда слушаешь вас, невольно попадаешь под ваше влияние и не замечаешь некоторых погрешностей». Ответил я тогда товарищу Смирнову, что все же драму лучше смотреть или слушать, но не убедил его. Он прочитал, сделал очень верные замечания...

Вишневский говорил в тот вечер, что пьеса «У стен Ленинграда» разбудила в нем новые творческие силы и ему очень захотелось попробовать написать о трудных судьбах людей, о тайнах их души, об их мечтах.

Люди, столько пережившие, после войны потребуют от писателей предельно правдивых произведений, бесстрашных, глубоких. Война породит нового читателя и новую литературу. Литературу большой силы, прямоты.

Мы шли по столичной улице Горького, но Вишневский всеми своими помыслами был в Ленинграде.

— Мой город дал мне необычный душевный настрой, особенно за годы блокады. Тут было проверено все: вера, сила, идеалы, нервы, интеллект. Мой родной город — отец и воспитатель, суровый и ласковый.

Вишневский рассказывал о замерзающих, голодных, но несгибаемых людях, ни на минуту не сомневавшихся в победе, свято, одержимо веривших в нее и потому неистово дравшихся за нее.

Вишневский улыбнулся, из-под сросшихся бровей засияли карие глаза.

— Всеволод Витальевич, трагедия Ленинграда вовеки не забудется. При всех ее ужасах, смертях, пожарищах она все же стала оптимистической.

Сказав так, конечно, не предполагала, что мои слова произведут какое-то впечатление на Вишневского.

Но он тут же переспросил:

— Вы действительно почувствовали, что трагедия Ленинграда оптимистическая?

— Да, и особенно остро, когда вы начали говорить о Ленинграде будущего.

— Очень рад. Вы даже не представляете, какое огромное значение имеют для меня эти слова. Я убеждаю всех своих товарищей, журналистов, писателей, чтобы в выступлениях и в корреспонденциях, призывая к борьбе за победу, они непременно давали картину того будущего, за которое надо идти в жесточайшую схватку с врагом. Необходимо напоминать каждому бойцу о том будущем, за которое он сражается. Это создает особый психологический настрой, укрепляет веру, придает силы, даже одержимость в боях. К сожалению, у многих журналистов это обращение к будущему пока отсутствует. А вы очень активный слушатель. У вас острое и точное восприятие.

Пройдя всю улицу Горького, мы свернули вправо к университету. Я сказала Вишневскому, что моя комсомольская юность связана с Московским университетом, который окончила в конце тридцатых годов, занимаясь на химическом факультете.

Всеволод Витальевич очень заинтересовался, подробно расспрашивал о моей студенческой поре.

— Я ведь с четырнадцати лет воюю и так мало знаю о мирной жизни,— сказал он.— А как хочется познать ее, понять...

Почувствовав заинтересованность Всеволода Витальевича, я принялась рассказывать о занятиях в университете, о профессорах, о своих друзьях, о наших стремлениях. О том, как вела кружки на Дорогомилевском химическом заводе, о своей дружбе с рабочими, с которыми занималась.

Всеволод Витальевич настоял на том, чтобы мы зашли в здание университета, просил показать аудиторию, где я защищала дипломную работу. Когда я случайно обмолвилась, что она была напечатана в специальном физико-химическом журнале за двумя подписями с профессором, Всеволод Витальевич вынул записную книжку и стал записывать очень сложное название моего диплома, просил сообщить номер журнала, где он был напечатан. Конечно, я все забыла и уж абсолютно не понимала, почему это интересовало Вишневского. Он меня журил, что не помню номер журнала, и усиленно настаивал, чтобы носила университетский значок.

Всеволода Витальевича интересовало буквально все, что касалось его собеседника, ему хотелось понять, что его волнует, увлекает. Я рассказала Вишневскому о наших студенческих вечерах, в которых неизменно принимал участие друг моего отца писатель Викентий Викентьевич Вересаев. Он очень любил молодежь и не только проводил с нами интереснейшие беседы, но и учил нас танцевать старинные бальные танцы, такие, как падеспань, краковяк и мазурку, за которую мне посчастливилось в паре с Вересаевым получить первую премию на университетском балу.

Всеволод Витальевич был просто в восторге от такого рассказа. Расспрашивал о подробностях и, конечно, о Вересаеве (впоследствии он подарил мне посмертное полное собрание сочинений Вересаева).

— Может быть, наступит такое благодатное, счастливое время, когда прочно воцарится мир на земле,— задумавшись, проговорил Вишневский,— и я смогу отойти от военных тем, написать пьесу, в которой покажу образ современной женщины. Ведь до сих пор в своих произведениях я так мало уделял места женщинам, их повседневным делам, заботам, увлеченности, любви. Ох, как мне хочется понять психологию современной женщины.

— Это очень трудно, Всеволод Витальевич,— поддразнивала я.— И, пожалуй, потребует больше сил и времени, чем вы отдали морякам. Женщины — народ коварный!

Когда вышли из ворот университета, Всеволод Витальевич предложил пойти на Красную площадь.

— Я очень люблю там бывать,— сказал он.— Когда в дни парада по площади шагает наша армия, от ее шага вздрагивают Боровицкий холм и старый Архангельский собор, где лежит Иван Калита — собиратель Руси. Я бываю здесь и в трудные и в радостные минуты, в самые решающие. Я пришел сюда, к Мавзолею Ленина, 22 июня 1941 года, за два часа до отъезда на фронт.

— Но сегодня-то у вас радостный, счастливый день, так хорошо приняли вашу пьесу.

Подойдя к Мавзолею, Вишневский вспомнил, как совсем еще юным матросом слушал Ленина, выступавшего на Финляндском вокзале с броневика. Владимир Ильич говорил о конкретных задачах пролетариата, о том, что надо немедленно брать власть в свои руки.

Молодой моряк Балтийского флота Вишневский был одним из тех, кто штурмовал Зимний.

— А я вот на этом месте разговаривала с Владимиром Ильичем! — не без гордости сказала я.

Вишневский остолбенел от моих слов, потом, совершенно ошеломленный, начал расспрашивать подробности.

Я рассказала, что мой отец, участник трех революций, в октябре семнадцатого года был партийным руководителем Хамовнического района от МК большевиков. С 1917 по 1930 год он избирался членом

исполкома Моссовета. Еще с начала века неоднократно встречался с Лениным.

В одну из первых годовщин Октябрьской революции отец взял меня на трибуну. Ленин, проходя мимо, заметил меня, погладив мои тоненькие косички, спросил отца: «С дочерью пришли?» А потом, обратившись ко мне, сказал несколько ласковых слов... Я запомнила этот день навсегда.

— А мне довелось сражаться на пяти войнах. Четырнадцатилетним мальчиком я убежал из родительского дома на войну, в пятнадцать лет за храбрость был награжден Георгиевским крестом и медалями.

Представляете себе: пять войн на одного человека. В этом году будет тридцать лет, как я «мобилизован и призван». Война была моей судьбой. И вот сейчас, когда приближается победа, когда на горизонте забрезжил мир, мне так хочется познать мир гражданский, обычный, со своими радостями, заботами, трудностями, сложностями, хлопотами, со всем тем, что приносит жизнь самая обыкновенная, в своем абсолютном необыкновении. Мне очень интересно узнать ваше поколение, которое приходит нам на смену. Мне интересно ваше мировоззрение, ваше ощущение жизни.

Может быть, вам покажется странным, но, отвоевав на пяти войнах, я в какой-то степени стал суеверен, прислушиваюсь к голосу инстинкта. Вы, повстречавшаяся в день большой победы на Ленинградском фронте, внушили мне доверие и потребность делиться всем наболевшим, всем, что меня тревожит.

Как-то раз в минуту откровенности Всеволод Витальевич сказал о том, что он человек очень сложный, противоречивый и даже порой жестокий. Вечные походы, окопы, бои, конечно, оставили свой след. Заметив некоторое мое замешательство, он улыбнулся:

— Испугались, хотите свернуть в сторону. Зачем вам, милой, доброй, молодой женщине, дружба такого требовательного, трудного и очень беспокойного моряка? А вы не пугайтесь. Смею вас заверить: тот, кто идет трудным путем, всегда выигрывает, конечно, имею в виду выигрыш в большом смысле, а не в мелком бытовом, тут возможен и проигрыш! Главное же в жизни не быть, а бытие, оно является движущей силой, влияет на внутренний мир. Створки моего внутреннего мира широко распахнуты перед вами.

Слушая Всеволода Витальевича, я начинала понимать, что он человек совершенно необычный. С одной стороны, он мыслил масштабными категориями, а с другой — его высказывания были сердечными, романтично-возвышенными, очень интимными и доверительными. Вот это редчайшее свойство, конечно, подчиняло и пробуждало огромную веру и желание действовать. Известно, что после его речей полки немедленно рвались в бой и побеждали. Мне кажется, что даже самый сдержанный, спокойный человек не мог

оставаться равнодушным, слушая Вишневого. Причем зажигал Всеволод Витальевич отнюдь не каким-то особым ораторским искусством, а именно своей простотой, своей доверительностью. Он раскрывал перед слушателем свою душу, веру в прекрасное, доброе, мирное, которое надо завоевывать в борьбе и только в борьбе. К ней он и призывал во имя счастья, во имя вдохновенного труда.

...Наши беседы с Всеволодом Витальевичем стали довольно регулярными. Он любил вечернюю Москву и нередко приглашал меня после напряженного рабочего дня побродить по улицам столицы.

...Мы шли по Пречистенскому бульвару. Был тихий звездный вечер. Как-то особенно хорошо дышалось морозным воздухом. Всеволод Витальевич был задумчив.

— Вы слышали вчера вечером, как чудесно читали по радио «Севастопольские рассказы»? Как понимал Толстой силу и упорство русского народа, его простоту, храбрость, любовь к родине!

Мне очень хочется прочесть вам главы из своей книги «Война». Я писал ее пять лет, пока ничего не печатал, мне кажется, из чувства стеснения. Все это очень мое, личное. Думаю, что эта вещь самая смелая из всего написанного мною. Материал беспределен. Мечтаю о тех днях, когда смогу снова взять эти рукописи, стряхнуть с них пыль и двинуться дальше.

Как-то я пригласила Вишневого походить на лыжах в Измайловском парке. Он был просто в неопишемом восторге. Вдыхая запах соснового леса, разгневанный, веселый, он довольно быстро шел по лыжне, ловко спускался с гор, а когда разъезжались лыжи, катился кубарем вниз. Он наслаждался морозным, солнечным днем, голубизной искрящегося снега, мохнатыми елями и безоблачным небом. Как же он был доволен этой прогулкой, как благодарил за то, что уговорила побыть на природе, хоть ненадолго отключиться от работы.

Все, кому довелось общаться с Вишневым, знают, что, предъявляя очень высокие требования к самому себе, он с такой же меркой подходил к своим товарищам, не допускал ни малейшей обывательщины в отношениях. Пассивности, лени, трусости не прощал! Большую чуткость, заинтересованность проявлял к молодым начинающим писателям, если усматривал в них зерно таланта. Это свойство Вишневого было мне очень дорого, ибо оно было присуще и моему отцу. Должна сознаться, что, познакомившись с Всеволодом Витальевичем, я с радостью обнаружила у него и у моего отца много схожих черт: романтическое (в самом высоком смысле слова) восприятие действительности, одержимость в борьбе и вместе с тем умение трезво оценивать обстановку. У них была одинаковая редакторская хватка, схожие литературные вкусы. Все это очень способствовало моей дружбе с Вишневым.

— Отец привил вам любознательность, это замечательное качество, развивайте его. Мне хочется, чтобы вы росли, чтобы

расширяли свой кругозор. Ни при каких обстоятельствах не предавайтесь лени,— так учил меня Вишневский.

Невозможно назвать ту область знаний, которая бы не интересовала Вишневого, особенно если речь заходила о войнах, их истории или о литературе, искусстве. Он хорошо разбирался в живописи, с детства рисовал, любил музыку. Своими рассказами завораживал любого слушателя. Его речи отличались точным и широким охватом темы. Он умел разглядеть то, что не замечали даже крупные специалисты.

Как я уже упоминала, требовательный к себе, Всеволод Витальевич не давал спуска другим. Он заставлял подтягиваться, непрестанно расширять свой кругозор, по мере сил совершать полезное, помогал задуманное претворить в жизнь. Он умел направить, увлечь идеей.

И сейчас, по прошествии десятилетий, вспоминая его, я хочу в меру своих сил показать его многогранность, его абсолютную неповторимость, его порой совершенно неожиданный ход мыслей, свершений, поступков.

Помню, как, знакомя меня с генералом О. И. Городовиковым, Всеволод Витальевич отрапортовал ему, кто я такая, упомянув, что я дочь старого большевика, активная комсомолка тридцатых годов, работала в госпитале во время войны, и еще, и еще, причем говорил то, чего у меня не было и в помине, но, по мнению Вишневого, могло быть, а значит, будет! Конечно, я невероятно смутилась перед генералом за все эти тирады, произнесенные в мой адрес. Но Городовиков, зная хорошо Вишневого, понимающе улыбнулся и протянул мне руку.

Всеволод Витальевич неоднократно настаивал, чтобы я хоть кратко записывала события дня. Конечно, без привычки мне не удавалось делать это систематически. Но все же отдельные записи, которые я нахожу, помогают восстановить в памяти интереснейшие, порой просто ошеломляющие прогнозы Вишневого на будущее:

«После войны перед нами встанет огромная задача: создать политические, экономические союзы с Польшей, Чехословакией, Болгарией, Венгрией, Румынией. Вот тут и обнаружится все «капиталистическое» противодействие англосаксов. Ход событий покажет, как сложатся наши отношения с Англией и США. Станут ли они нас «мягко» зажимать, стремясь так или иначе заблокировать СССР, или будут найдены компромиссные решения. Верю все-таки в человеческий разум и уроки истории! Передышка после войны будет длительная, и никогда вовеки Америке не быть «господином» мира!»

«Чувство исторического объективизма помогает. Будут жить и люди, и страна, и мир. Родятся новые, в меру вспомнят умерших памятниками, книгами, датами. Все будет в вечном ритме, в вечном потоке!»

Жизнь идет поверх сложившихся форм, крушит их, создает нечто,

в чем мы еще не можем разобраться. Происходит глубочайшее изменение, люди через страдания пришли к чему-то новому, высшему...»

Запомнились мне высказывания Вишневого о том, что за службой никогда не должна пропадать человеческая душа, в особенности у писателей (инженеров человеческих душ). Любые отношения должны основываться на человечности, простоте, ясности, дружбе. Старорежимное вранье, замкнутость, чванство, зазнайство — эти проклятия надо безжалостно уничтожать.

Бюрократизм Вишневецкий органически не переносил. Он готов был с ним сражаться с такой же одержимостью и страстью, как дрался на фронтах.

Никогда Вишневецкий не ставил себя выше других, с кем бы он ни общался. Уважительный и доброжелательный тон и в отношении матроса, пришедшего впервые на палубу корабля, и в отношении начинающего автора. Щедро и неустанно делился своим опытом, знаниями Вишневецкий. И, открывая в человеке его лучшие качества, не уставал помогать выявлять их, бороться за них.

Всеволод Витальевич часто говорил, что привык по всем вопросам советоваться с Лениным, именно советоваться, а не просто читать. Ленинским высказываниям о культуре Вишневецкий придавал особое значение, брал их за основу во всех своих выступлениях.

...В марте 1944 года Вишневецкий возвращался в Ленинград.

Прощаясь, мы условились писать друг другу, сообщать новости.

Увы, тогда я не знала, что такое письма для Вишневецкого, какую роль они занимают в его жизни.

Через два дня после его отъезда я получила телеграмму, в которой сообщалось, что благополучно доехал и приступил к своим служебным обязанностям. На следующий день пришли две телеграммы подряд, а на третий — уже три, с подробным описанием его деловых встреч, планом работы, докладов.

Я собиралась ответить Всеволоду Витальевичу письмом. Но ночью позвонила стенографистка «Правды» и передала следующую телефонограмму: «Прошу немедленно встать с постели, пойти на телеграф и дать подробную телеграмму о ваших делах».

Честно говоря, я даже не понимала, о каких делах я должна так сверхсрочно сообщать. Но пока я раздумывала, дожидаясь утра, раздался звонок в прихожей. На пороге стоял молодой моряк в звании, помнится, лейтенанта. Представившись, он сказал:

— Капитан второго ранга Всеволод Вишневецкий просил передать, что из Ленинграда он часто выезжает на передовые позиции, выполняет серьезные задания. Он поражается, как вы можете не писать военным морякам? Вы понимаете, — наступал на меня



лейтенант, — еще не окончилась война, и вы обязаны писать письма на фронт, так просил передать Вишневский, причем просил подчеркнуть, что это ваш гражданский долг! Распишитесь, что вам все передано. Я немедленно выезжаю обратно и должен буду доложить, что поручение выполнено.

Сознаюсь, я просто опешила от неожиданного вторжения моряка и от всего того, что он мне сообщил. А он протягивал мне блокнот и самопишущую ручку, требуя расписки. Взяла дрожащими пальцами перо и коротко написала: «Всеволод Витальевич, ваш лейтенант все разъяснил, сегодня же отправляю подробное письмо. Желаю удачи. Рада, что у вас все в порядке».

Лейтенант забрал свой блокнот, откозырял и удалился, оставив меня в полнейшем недоумении.

С этого памятного дня началась наша семилетняя, почти ежедневная переписка.

«25 марта 1944 года. Ленинград.

... Приехал в Ленинград, абсолютно перебудораженный Москвой. Мне много выпало хорошего в Москве и переключение на питерский лад далось не сразу.

Я телеграфировал, ждал ответа, но его не было. Не знал, как объяснить Ваше молчание. Попросил нашего моряка, откомандированного в Москву, зайти к Вам, выяснить, в чем дело, и убедить Вас обязательно писать. Вчера он вернулся и доложил, что Вы здоровы, что у Вас все в порядке и что Вы послали письмо. Жду!

Мысленно продолжаю наши беседы, иногда открытые до конца, иногда сумбурные, но всегда необходимые. Перебираю в памяти удивительные уроки женской психологии, которыми Вы меня так щедро одаривали. Я очень долго, поглощенно жил военной жизнью — уже тридцать лет, к сожалению, многое из области женской психологии от меня ускользало. Но я уверен, что это поправимо.

...Тишина, прерываемая долгим и грозным ревом авиации, рассеивающей ночную тьму. Наши летчики действуют... Стол, мои папки, бумаги, книги, планы новых работ... Я задумываюсь над московскими впечатлениями, думаю о будущем. Инстинкт подсказывает, что будущее народа широко и светло...»

«30 марта 1944 года. Воскресенье. Ленинград.

...Солнечное утро... Настроение бодрое, выспался. Перевернул сейчас свои книги и бумаги, прилив рабочего настроения. Привожу в порядок заготовленные материалы, черновики и т. д. Тайная дрожь, хороший холодок. Ну, в новый бой! Новая вещь потребует огромных душевных и умственных усилий. Тема: Ленинград и Балтийский флот за три года войны. Надо угадать, что и как показать послевоенному зрителю, ибо фильм сможет в лучшем случае выйти в конце 1945 года.

...Среди бумаг нашел ленинградский журнал «Звезда» № 1 за 1943 год. В нем напечатана моя новогодняя речь по радио... Это был каунт прорыва блокады... Шлю этот текст Вам, чтобы Вы больше чувствовали Ленинград и Вашего корреспондента. В речи есть несколько мест, которые за год до нашего знакомства, в сущности, обращены именно к Вам.

...Хожу по комнате, раскрыл шкафы, летит пыль и клубится в лучах солнца. Я, измученный, на ходу читаю в отдельных листки, заметки, странички. Какая уйма записей! Три года. И из всего этого для Вас, дорогая зрительница, надо сделать зрелище на два часа: упругое, сильное, острое, где страсть сочеталась бы с юмором, лирикой и где проза была бы спаяна с самой неудержимой романтикой. Это должен быть фильм «Три года войны на Балтике, служение России, защита Ленинграда». Должен быть и будет! В руки попался томик Гете «Лирика»... Значит, сегодня вечером буду перечитывать этот томик. Хотелось бы перевернуть всю библиотеку, многое перечитать! Пишите о своих делах, мыслях, впечатлениях, вопросах. О чем хотите, но только обязательно пишите!»

«3 апреля 1944 года. Ленинград.

...Давно уже я не затрагивал так вплотную тему театра и кино... Я думаю о том, как можно в канонические формы ввести новые видоизменения, глубже раскрыть пластику драматургии, динамизировать ее... Человек современности чувствует, видит, слышит острее, чем, скажем, пятьдесят лет назад. И все эти моменты обострения нужно очень умело вносить в современную драматургию. Дело не во внешних убыстрениях и формальных поисках, которые увлекали ряд режиссеров, а в передаче духа, темпа, сути современных переживаний. В использовании всего пространства сцены, в умелом выделении общих и крупных планов, в использовании декораций не статических, а эволюционирующих вместе с материалом драматурга. Все впечатление должны быть использованы последовательно — игра, фактура, музыка, свет и прочее должны подчиняться замыслам драматурга, гибко и непрерывно. Нужно создавать новый вид сценического действия, отвечающего духу, темпам, специфике современного человека. Статика XIX века не должна давить на решения современных мастеров, а она давит очень сильно. «Бунты» новаторов начала этого века — двадцатых и тридцатых годов были, в общем, верны, но новаторы еще не угадывали сути современного кино, самого реалистического из искусств, не имели профессионального навыка... Мы же этими навыками владеем и можем искать новых синтезов кино и театра, не механических, а органических...»

«4 апреля 1944 года. Ленинград.

...Солнце сияет и улыбается России, милому Ленинграду и светит наступающим армиям.

«Природа создала одну Россию, соперниц ей нет». Помните эти

гордые слова Петра? Какое время, какое время!.. Я горд тем, что 22 июня 1941 года на большом митинге писателей Москвы, в зале на улице Воровского, сказал: «Русские были дважды в Берлине — в 1760 году и в 1813-м. Даем слово, будем и в эту войну! В поход, товарищи!»

...Мне хочется сделать очень много. Всю уймищу впечатлений дать народу с предельной силой. Вынуть из груди все с кровью, с любовью к России, которой я переполнен.

...Поймите, грядет духовно-эстетический переворот в нашем бытии. Неутомимый народ будет идти все выше и выше, вперед, он беспощадно отбросит недостатки быта, неустройства, безвкусицу, «жаргон» и т. д. и т. д. Вы увидите, как все будет меняться, хорошеть! Я чувствую это с невероятной остротой, это «завтра» распирает мои легкие, грудь!»

«7 апреля 1944 года. Ленинград.

...Отослал Вам очередное письмо и иду своим старым маршрутом к островам. Каменный остров, где стоит любимый дуб, посаженный Петром, — черный, могучий гигант. Тихо подошел к нему. У меня была огромная потребность прикоснуться к этому дубу. И не надо могил, а надо именно живое, упорное. Могучий дуб, обнесенный решеткой, пробитый временем, грозами, а ветви сильные, с побегами. Мне было удивительно хорошо. Это слилось с моей очередной работой о 240-летию Ленинграда, в которой я рассказал о поэзии, о душе, воле города... Постоял у дуба Петра, пошел дальше, к Новой деревне, где уже пахнет взморьем. Сегодня солнечно, мне абсолютно не хочется работать, хочется отдохнуть, побыть с самим собой. Приглашаю вас на прогулку по Ленинграду... Итак, будем просто идти, смотреть и дышать. Это удивительное наслаждение — дышать острым, зимним, полувесенним воздухом. О чем Вам рассказывать? Как я живу? Исподволь иду к новой работе, о ней я уже Вам писал. Она требует максимума сил. Соками души буду создавать эту работу. Иначе ничего не выйдет! Выступаю, пишу. Написал статью к 100-летию Станюковича — певца моря. Пишу и другие статьи. Слышу Ваше замечание: «У вас всегда все будет в порядке». Верю, надеюсь!

В городе вспыхнуло движение за самостоятельный ремонт квартир и заводских цехов. Тысячи людей по вечерам начали восстанавливать город... Штукатурят, белят, чистят. Будто генеральная, праздничная уборка. Она будет идти месяц за месяцем — символически это приготовление к встрече Победы! Мы примем здесь гостей. Над Невой, ее дельтой и морем вспыхнут огни последнего — победного салюта. Ему позавидуют северные сияния.

Вы слушаете меня, то соглашаясь, то настраиваясь на свой лад. Я слышу Ваши слова: «Всеволод, вы опять заняты романтикой».

Что ж, иным я не умею быть... Хотя знаю прозу жизни досыта... Но сейчас мне не хочется прозы. Я рвусь куда-то, жду, прислушиваюсь

к жизни, к самому себе. Мы все накануне огромных событий, исторических поворотов, свершений».

«10 апреля 1944 года. Ленинград.

...Весна идет победоносная! Брожу по моему родному городу, мне знакомо здесь каждый камень. Душа сжимается при виде иных перекрестков, витрин, улиц. Вот дом, где я вырос, у меня нет сил войти во двор, в сад. Тут все умерло, тут только воспоминания...

...Я замечаю, что ранние мои впечатления отодвигаются все дальше и дальше. Странно, но вся пора, например, 1914—21—27 годов как-то окрашена грустью. Я еще не знал себя. Меня подавляли глыбы военных воспоминаний. Я не знал, что с ними делать, но уже начинал свои первые литературные пробы. Первые военные дневники и рассказы я начал в 1915 году.

Как же хорошо после таких долгих поисков, странствий и тягот прийти к таким ясным мыслям, взглядам, ощущениям.

...А нынче по улицам Ленинграда идет капитан второго ранга, отвечающий на приветствия прохожих, но, увы, их никого не интересуют мои воспоминания. Глухо в окнах бывших ресторанов... Еще не выросли лозы, которые дадут вино для будущих пиршеств. Еще не отлиты трубы, которые будут здесь греметь. Еще не выросли те женщины, которые будут тут блистать, опьянять и сводить с ума мужчин 1960—80-х годов XX века! Когда город, великий порт России будет жить широко и убыстренно. И на нарядных платьях пожилых женщин будут сверкать медали «За оборону Ленинграда».

...Письма, письма... И во всех красной нитью проходит ощущение скорой Победы. С утра до ночи он был занят подготовкой к ней. Листовки, статьи, в которых Вишневский поясняет, какой «котел» бойцы устроят фашистам в Прибалтике, ежедневная летопись войны, как бы ни одолевали усталость, недомогание. Раздумья о новой пьесе, сценарии, прогнозы на будущее. Вечером обязательно чтение. Музыка, книги были необходимы. Они в какой-то степени снимали предельную напряженность — и душевную и физическую.

«Читаю сегодня Байрона, вникаю в его биографию. Вероятно, в этом году перечитаю все то, что меня волнует в мировой литературе, примерно третьим туром. Это вызвано необходимостью «побродить по вершинам».

Вот, к примеру, какой список книг запрашивает из библиотеки Всеволод Витальевич в апреле 1944 года: М. Пруст, IV том; книги по истории России; «Высадка из Австралии» Э. Э. Киша; «Моя жизнь» Чаплыгина; «Детство Никиты» А. Толстого; «Фрегат «Паллада» Гончарова; «Сонеты» Петрарки; труды академика Грекова.

Вишневский, читая, обязательно записывал возникавшие мысли, ассоциации.

Он любил оставлять книги открытыми, они как бы звали к себе, приковывали внимание.

Неоднократно Всеволод Витальевич с грустью говорил о том, что в своих произведениях мало уделял внимания женским образам. Я категорически возражала: «Комиссар из вашей «Оптимистической» вечен!»

— Может быть, вы правы, я люблю своего Комиссара, но после победы мне так хочется показать современную женщину, светлую, мирную! Будьте рулевым в этом огромном женском царстве, очень прошу. Наша женщина так много вынесла на своих хрупких, тонких плечах, мы, мужчины, теперь должны не только помогать и всячески облегчать им жизнь, но просто молиться на них. Во всем мире нет лучше наших советских прекрасных, добрых и терпеливых женщин. И сейчас, когда мы стоим на пороге победы, мне хочется славить нашу женщину и поклониться ей до земли.

Вишневский на какое-то время задумался, а потом продолжал, видимо, он давно вынашивал эту тему.

— Поймите,— говорил он,— ведь это гораздо принципиальней и крупнее старого рыцарского «культа дам», серьезней и в тысячу раз основательней. Может быть, у нас нет такой пьянящей тонкости, такого эстетизма чувств? Но все это придет, обязательно придет в неустанной и долгой борьбе за новую культуру, конечно, не отбрасывая старую, а, наоборот, основываясь на ней, развивая ее, возвышая, стремясь к изяществу, эстетике, красоте чувств в большом плане, которые так необходимы и которые так жаждут человеческие души.

— Возможно,— размышлял Всеволод Витальевич,— мы в непрестанной борьбе забывали о форме, об умении выражать свои чувства. Ныне мы стали победителями, и теперь мир будет ждать от нас, что мы станем духовными законодателями, законодателями и форм, и стиля, и мод, конечно, в большом смысле. Мы обязаны думать об этом углубленно, творить новые формы отношений, не только общественные, но и индивидуальные, интимнейшие. И в этом тоже будет заключаться борьба за всемирное первенство. Идея, меня остро занимающая. Мы обязаны быть на высшей ступени культуры. Значит, мы в себе должны нести знания идей, нравов, манер, стиля жизни.

Мы очень любили с Всеволодом Витальевичем бродить по Москве или уезжать за город. Такие прогулки как-то особенно располагали к доверительным беседам.

Вот, например, опять его раздумья о жизни, которыми он поделился со мной, я нашла их в своих записях. Как сожалею сейчас, что мало их, ведь каждая беседа с Вишневским обогащала, приучала шире смотреть на мир и многое познавать.

Так вот, раздумья о жизни.

— Жизнь можно создавать лишь на вечном упорстве, вдохновенной, жертвенной самоотдаче, беспредельном увлечении. Только это

дает удовлетворение, радость, хотя бы ты был весь изранен. Я говорю это со всей ответственностью, весь израненный войной и жизнью.

Конечно, речь шла о высшем взлете человеческого духа, а не так называемой бытовой практике.

Солнечным, весенним днем мы шли по улице Горького, которую Вишневский особенно любил. На углу продавали мимозу, первые фиалки. Всеволод Витальевич был в чудесном расположении духа и повторял с озорством свое матросское: «Нет таких сил, которые бы нас смутили! Смерть и та нас не испугает, помирать будем — смеяться будем!» А потом, снова задумавшись, с гордостью говорил о том, что воля к жизни у советского народа колоссальная.

— Поймите,— увлеченно делился он тем, что его непрестанно волновало,— у нашей страны небывало высокий моральный авторитет. Какие же огромные внутренние усилия мы обязаны сделать, чтобы в области культуры подняться еще выше, достичь новых высот. Достигнем безусловно! Внутренний мир наших людей неизмерим — это святой народ! Его угадывали гении — Пушкин, Толстой. Они предтечи русского Возрождения. Мы вносим вклад в создание нового человека. В нас кровь, культура и сила Европы и Азии, мы, видимо, прототип будущего!

Да,— продолжал взволнованно развивать свою мысль Всеволод Витальевич,— советский человек, простой человек в гимнастерке, оказывается наиболее стойким и духовно и физически. Это обязывает нас усиленно действовать, помогать созданию облагораживающего социалистического устройства мира.

...Очень любил Всеволод Витальевич бывать в Кронштадте, он знал его с детства. Когда ему исполнилось пять лет, мать привезла сына в этот город, обошла с ним все улицы. Навсегда запомнились ему северная тишина, памятник Петру. Как зачарованный, смотрел мальчик на матросов — он так хотел иметь такую же бескозырку и плавать на кораблях, как они. Мать, уводя сына из гавани, говорила, что, когда он вырастет, может быть, тоже станет моряком, но, конечно, не предполагала, что вся жизнь ее сына будет нерасторжимо связана с Балтийским флотом.

Повзрослев, Вишневский часто приезжал сюда, подолгу любовался морем, ритмичным движением волн, особенно в часы заката, когда переливы красок так непередаваемо красивы. Любил потом бывать в кронштадтской библиотеке-читальне. Там он работал над своим знаменитым фильмом «Мы из Кронштадта».

Мне хочется привести выдержки из письма, написанного Всеволодом Витальевичем в Кронштадте в июне 1944 года.

«...Думаю о будущем напряженно, с острейшей болью в душе. Я живу Россией, ее судьбой, ее борьбой, с Октябрем, ее войнами, ее безграничным полетом, ее творчеством. Жду страстно, как и все, конца войны. Хочу быть «вольным писателем» и окинуть все широким

взглядом. Мечтаю отдохнуть после пяти войн. Но знаю, что жизнь не легка, и в серьезной перспективе не хочу «легкой жизни». Нужно будет — пойду на шестую войну. Пойду в любые экспедиции. Говорю это прямо, и бо это серьезнейшая вещь... Это склад жизни, тип жизни, ее суть. Мне никуда не деться от моих военных лет. И миру — государству — никуда не деться от глубоких социально-политических противоречий. Попытка некоторых жить «вне» этого бесцельна, она отомстит за себя. Жизнь будет напряженная, динамичная, требовательная. Думаю об этом непрестанно. Какие-то настойчивые вопросы к судьбе. А ведь всем нам так свойственно надеяться... Конечно, мне нужен отдых. Но покой! О боги! Всеволод и покой! Это невозможно! Я умчусь на льды Арктики, у меня была такая затея с Папаниным, или сяду на китобоец и уйду в Берингово море. А может быть, полечу корреспондентом «Правды» в космос!

...Вчера вечером прошел вновь по Кронштадту... Раскрыт памятник Петру... Стоит он гордо, повелительный, могучий. Кругом старый парк, корабли, матросы, девушки. Извечное, сильное, неистребимое. Одна улыбнулась мне просто так (или «не так»), и до того забавно, славно стало мне вечером в толпе! Может быть, это и не объяснишь, но вы-то поймете. Это норма жизни, все просто, по-нашему, как было и будет, и никакая фашистская сволочь не попортит ни этого вечера, ни парка, не тронет Петра, не тронет девушки, которой хочется стрельнуть глазами... Закаты с ума сводят — то нежные, элегические, напоминающие и былины, и саги Скандинавии, то тревожные, кроваво-бурые... Белые дымы стелются вдоль берега... Жизнь не знает остановки... Она — над тревогами людей, идет своим ходом, мудрым, неведомым... И я всегда вижу за руинами — будущее, вслушиваюсь в гимн всепобеждающей жизни!»

Вскоре Вишневский по вызову Союза писателей вновь приехал в Москву. Состояние его было тревожным. Он боялся, что московские повседневные дела задержат его отъезд на фронт.

В тот период, когда война лишь вступала в завершающую свою фазу, Вишневский уже глубоко размышлял о послевоенной обстановке, пытался предугадать те сложности и проблемы, которые возникнут сразу после войны.

— Я полагаю, — говорил он, — что после победы нам будут чинить серьезные препятствия те же союзники. Они стремятся к гегемонии в Европе, расширению своих колониальных влияний. Нельзя забывать того обстоятельства, что у Англии и США после войны останутся огромные воздушные и морские силы, не говоря уже о наличии крупных армий, почти не тронутых войной. Думается, оба государства и впредь не прекратят гонку вооружений, преследуя свои цели. Эти факторы будут влиять на всю международную обстановку, заставят нас всегда быть в боевой готовности. Рассчитывать на то, что

окончание войны принесет рай и что потекут молочные реки в кисельных берегах, нельзя. Мы обязаны сделать максимум для упрочения внешнеполитического положения СССР. И уверен — сделаем!

Проблемы эти постоянно волновали Вишневого, он подходил к ним и с учетом уроков прошлого и с детальным прогнозированием будущего. Желая найти ответы на сложнейшие вопросы современности, он непрестанно изучал философию, историю различных стран, экономику.

Иногда Всеволод Витальевич вдруг спохватывался и, извиняясь, говорил:

— Я так увлекаюсь своими международно-политическими темами, что невольно обрушиваю на вас много трудных, непривычных и, может быть, не столь близких вам проблем. Простите, я ценю ваше терпение. Видно, у вас такая планида — слушать все мои размышления.

— Мне всегда интересно вас слушать, о чем бы вы ни говорили, — отвечала я. И это было истинной правдой.

— Да, вы все глубже вникаете в мой сложный мир. А мне стал шире раскрываться мир, новый для меня, — мир простых человеческих отношений, мир индивида. Это вносит новое в мои укоренившиеся, общие, «военные» представления. Мой мир эмоций всегда был монументален, пропитан движением масс, толп, пафосом огромных движений, патетикой истории. Теперь очень бы хотелось стать писателем, который хоть что-то откроет в микрокосме людских душ! А может быть, просто более чутким человеком. Это тоже хорошо!

Мне нужен отдых. Но ведь завтра, после окончания войны и небольшой передышки — огромный путь творческий, общественный, политический. Завтра ритм, режим труда. Завтра огромный рывок на соревнование с десятками, тысячами, миллионами. Завтра напряжение мозга, духа, вероятно, еще сильнее, чем в войне. Завтра абсолютный вывод России на абсолютно первое место. Завтра труд и борьба интеллектов, воли, культуры, духа. Я хочу, чтобы мы помогали друг другу изучать жизнь. У нас так много совпадений, просто удивительных. А мы с вами стоим на пороге огромной послевоенной жизни, бурной, созидательной, прекрасной и ответственной!..

Однажды в солнечный день мы отправились в Серебряный бор. Деревья только-только зазеленели первой, нежной листвой. Спокойная гладь Москвы-реки переливалась под солнцем.

Радуюсь пробуждающейся природе, мы вслушивались в голоса птиц. Закуковала кукушка. Всеволод Витальевич, задумавшись, сказал:

— Кукушка лесная нам годы говорит, а пуля роковая их нам коротит. Ох, если бы вы знали, как хочется писать!.. Заново обо всем,



все виденное в жизни... правдиво, от первых проблесков детского сознания. Писать в мирной обстановке, без служб, без нагрузок Союза писателей. Так хочется рассказать о себе, о своем поколении, о трагическом и прекрасном времени, о вершинах человеческого духа! Надо же нам, пока мы живы, все рассказать. Мы многого не успели. Все войны, войны... Мне кажется, что лучшее, что я написал за войну, — это мои ленинградские радиопередачи во время блокады и дневники. Хотя ясно отдаю себе отчет в том, что они далеки от литературного совершенства, но зато в них обнажена вся моя правда, вся моя сущность! И, пожалуй, не только моя, а русского человека, воина-писателя первой половины нашего века, века войн и революций!

Многим казалось, что Вишневский — мужественный человек, бесстрашный боец — может вынести абсолютно все. О, это было далеко не так. Да, он был бесстрашным на фронте, в литературных спорах, но очень раним и совсем не защищен от человеческой жестокости, лжи, равнодушия, грубости.

Как-то он с грустью признался:

— Я столь многое видел, уж, кажется, ко всему должен привыкнуть и не реагировать так остро на человеческие недостатки, особенно на душевную тупость, черствость. Но не могу. Во сто раз легче идти в самый жестокий бой, чем переживать разочарования в людях. Все привыкаю, привыкаю к этому, но, видно, до конца так и не привыкну. Ведь не раз тяжело расплачивался за свою эмоциональность. Хотя самым сокровенным я мало с кем делюсь. По существу, в последнее время — лишь с вами. Вы с поражающей точностью понимаете мою очень трудную, противоречивую и порой даже жестокую натуру. Эта жестокость, конечно, идет от военных наслоений, она отпечаток страшных боев, смертей. Но я ее стараюсь подавить. И вы мне в этом оказываете большую помощь, ибо сумели вызвать во мне такую потребность душевного раскрытия, такую неутолимую жажду рассказывать все то, что таилось в душе долгие годы. Я ловлю себя на том, что не только не могу не делиться с вами каждой своей мыслью, строчкой, но мне хочется дать вам все то, что было написано до знакомства с вами, особенно свои дневники и письма. Хочется все перечитать с вами вместе, чтобы сызнова пережить и затем двинуться дальше. Поймите, раскрываясь вам, я еще больше познаю самого себя, а ведь самое трудное — познать себя! До конца это сделать, наверное, еще никому не удавалось...

Разочарование в людях Вишневский действительно переживал очень тяжело. Сам он был верен в дружбе. Через всю жизнь пронес он это чувство к Ивану Папанину и Петру Попову, работникам Главсевморпути, вместе с которыми он воевал в гражданскую. Очень любил Александра Довженко и Сергея Эйзенштейна. С большим уважением относился к художнице и писательнице О. К. Матюшиной, у которой жил во время блокады.

Помню, когда вскоре после войны у Эйзенштейна умерла мать и Эйзенштейн захотел в этот момент видеть Вишневого, Всеволод Витальевич, несмотря на болезнь (лежал с высоким давлением), немедленно встал с постели. На все попытки его удержать отвечал:

— У него такое горе, я должен быть с ним. Поеду немедленно, проведу с ним ночь, поговорим по душам, постараюсь хоть немного его утешить.

Вишневецкий умел найти те слова, которые так необходимы людям в трудные минуты.

И в то же время общение с ним в повседневной жизни было совсем нелегким. Как все талантливые люди, он был сложнейшим человеком. К обыденной стороне жизни относился несколько иронично, не считался с так называемым бытом, который все же упрямо существует, и отмахнуться от него, увы, невозможно. Он жил по принципу: «Кроме свежевывмытой сорочки, мне ничего не надо». И в то же время любил, чтобы в двух его смежных комнатах — кабинете и библиотеке — соблюдался тщательный порядок, чтобы все лежало на своих местах и блестело чистотой, как во флотском кубрике.

Обстановка простая. Все самое необходимое. Письменный стол, шкафы с книгами. В библиотеке — во всю стену книжные полки — висели театральные афиши его пьес, поставленных в разных театрах, сувениры, привезенные из разных городов и стран. У прогитвоположной стены стоял длинный диван, рядом — кресло и журнальный столик, на нем — хороший радиоприемник, дневник, рукописи, книги. Именно тут, за этим столиком, больше всего любил сживать Вишневецкий. Переключая свой приемник с одной волны на другую, он напряженно вслушивался во все, что творилось на планете, а затем записывал свои комментарии в дневник наряду с подробными событиями дня и своими размышлениями. Откладывая дневник, принимался за чтение рукописей, книг. Здесь проходили часы сосредоточенности, раздумий и бесед с самим собой.

Всеволод Витальевич абсолютно не знал цену деньгам. Понятия не имел, сколько стоят простые вещи, не интересовался, когда и где ему причитаются гонорары. Всегда имел билеты на метро, ибо твердо усвоил: если по каким-либо причинам шофер не подаст машину, то эти билеты пригодятся. Обсуждать с ним бытовые, житейские дела было бесполезно: он не желал в них вникать.

Всеволод Витальевич мог, абсолютно не желая этого, причинить большие огорчения близкому человеку, ибо в нем удивительно сочетались воин, мыслитель, писатель и наивный ребенок, который мог совершенно неосознанно сломать дорогую игрушку, а потом сердиться на всех, кроме себя, что эту привычную, любимую игрушку невозможно починить. К стати, Вишневецкий часто и внешне походил на озорного, с лукаво смеющимися глазами ребенка.

Общение с этим человеком, бесконечно интересное, порой становилось мучительным.

Да, конечно, предъявлять к Всеволоду Витальевичу обычные, нормальные требования было невозможно. Его поступки бывали часто совсем неожиданными и противоречивыми даже для него самого. Все явления жизни преломлялись в его сознании по-своему.

...В сложной своей жизни Всеволод Витальевич с самого раннего детства не был избалован заботой, душевным вниманием. Его путь насыщен борьбой, и не только на полях сражения, но и в личной жизни и в литературе. О творчестве Вишневского писали многие: и его друзья и его враги. Работы его всегда вызвали споры, порой совсем несправедливые.

Как же был счастлив Всеволод Витальевич, когда на его творческом вечере, который был устроен 25 апреля 1944 года в Ленинградском Доме литераторов, многие выступавшие писатели единодушно дали высокую оценку всему тому, что он создал во время блокады.

Вот выдержки из его письма, написанного сразу после окончания вечера. «Говорил на вечере — очень отжато, строго, факты, факты, данные и только к концу развернул мои мечты о будущей России. Выступало четырнадцать писателей — от города, флота, армии. Не ожидал такой необыкновенно широкой и воистину человечески глубокой оценки, а главное — понимания. Я привык за литературные годы к жестокостям... Но, видимо, души людей изменились, видимо, и я сумел в чем-то убедить, победить!»

...Чувство долга, ответственности перед временем, перед народом у Вишневского было беспредельно, особенно большое значение он придавал воспитанию молодого поколения в духе героико-революционных, патриотических традиций. Больше всего он любил беседовать с комсомольской молодежью, любовью к которой был переполнен.

В начале блокады, 14 сентября 1941 года, Всеволод Витальевич выступал в Таврическом дворце перед молодежью города, отправляющейся сразу после митинга на фронт. Он говорил:

— Фашистские снайперы хотят сразить нас, ленинградцев, в самое сердце.— Говоря это, он вынул из левого верхнего кармана пиджака пулю.— Не убьют русское сердце, не убьют!

В городе одну за другой объявляли воздушные тревоги. Но собравшаяся во дворце молодежь не обращала на это внимания, не двигалась с места.

— Митинг молодежи 14 сентября 1941 года — один из лучших дней моей жизни! Я горжусь этой молодежью! — вспоминал потом Всеволод Вишневский.

Запомнился мне рассказ Вишневского и о том, как он в начале 1943 года отправился в Выборгский райком партии. Зал был переполнен молодыми активистами района.

— Настроение у меня в тот день было боевое, говорил с особым подъемом. Рассказывал, в сущности, о них, моих слушателях, об

истории России, о гражданской войне, о комсомоле, о задачах дня. И после моей речи выстроилась очередь: записывались в комсомол! Какая же у нас замечательная, надежная смена,— подумал я,— и на душе стало спокойней!

...Июнь 1944 года выдался жарким. Солнце щедро согревало израненную землю. В стремительных боях Красная Армия освобождала один город за другим. И, конечно, Вишневский был в первых рядах бойцов, сражавшихся за освобождение Выборга. По его корреспонденциям и письмам можно почувствовать, с какой взволнованностью и одержимостью он воевал. 21 июня 1944 года он писал:

«...Полк за полком идут на Выборг. Машины в два ряда и отблеск пожаров на шлемах бойцов. Неожиданная встреча — Константин Симонов, дружески обнял. А кругом все грохочет, где-то близко рвутся снаряды противника. Бойцы окружили нас с Симоновым, забросали вопросами об обстановке. Накоротке объяснили что могли. Народ молодой, крепкий. Усталость бойцов компенсируется возбуждением — враг разбит. Скоро войдем в город! Все время в походе, в тучах серо-желтой пыли, без сна, ел урывками. Обедал в болоте — найденной старой, кем-то обглоданной репой. Все бывает... Но зато в ночь с 20/VI на 21/VI заслужил банкет у коменданта в пылающем Выборге. Это был ответ на мечты врага устроить банкет в ленинградской «Астории»! Свои корреспонденции в «Правду» пишу на ходу, одну на шоссе, на перилах взорванного моста, другую — перед штурмом Выборга. Белые ночи, кругом все сурово, красиво. Иногда на 10—15 минут упоительная тишина, зной, густой смолистый запах. Цветет северная сирень. И я ищу пятиконечные сиреневые цветики на счастье!

Очень устал, но весь на нерве, на подъеме. Вступали в город в ночь на 21/VI, на закате. Северная красота...

Шли с песнями, шутками, на штыках сирень! Как передать волнение, радость, рождающуюся при вступлении в освобожденный город?! Сдружился с бойцами, командирами. Надыхался и озоном на море и пылью на дорогах. Искусан комарами... Но банкет среди пожаров в белую ночь под гул взрывов был чудесный.

Нас было четверо. Комендант Выборга, его заместитель, Константин Симонов и я. Некоторые из нас засыпали над рюмкой. Мой сосед поднес стакан чая к губам и пролил, так и не мог допить — задремал. Потом, вздрогнув, очнулся и тут же, положив руки на стол, крепко заснул. Немудрено: двенадцать дней непрерывного наступления. Война спать не позволяла. Я же, как ни странно, бодр. Сказалась страшная возбужденность. Непрерывно веду записи. После банкета побродили с Симоновым белой ночью в только что занятом городе. Привалившись к гранитным стенам домов, спят стрелки. Вспомнилось: «Солдат что постелил?» «Шинель». «Что в головах?» «Шинель». «Солдат чем укрылся?» «Шинелью!» «А сколько их у него?» «Одна!»

Пошли с Константином в комендатуру писать о взятии Выборга. Симонов — в «Красную звезду», я — в «Правду». Нам, ленинградцам, п е р в ы м была оказана честь удара по врагу в битве за Выборг!»

«23 июня 1944 года. Ленинград.

...Вернулся на рассвете. Дождливая ночь, шел над морем. Как раз три года войны. Сегодня днем получил Ваше письмо. Это мне награда за поход, за взятие Выборга! Очень было приятно, что «Правда» высоко оценила мои корреспонденции, переданные из Выборга. Посвящаю эту работу Вам. Как я рад, как благодарен судьбе, что встретил Вас на своем пути. Особенно остро я это понял сейчас, в боях за Выборг. Пишу в своей ленинградской комнате, умытый, побритый, трофейными чернилами на трофейной бумаге. В комнатке моей странно тихо... В ушах еще гул, лязг, взрывы, крики, ветер!

Размышляю я вот над чем: мы, писатели, в 1941—1942 годах дали народу чудовищный заряд ненависти к врагу. Но мы передовики, и у нас есть уже гуманистическое предощущение. Я проверил себя: у меня не было физической злобы. Я не хотел их убивать. Больше того, я видел в этих усталых солдатах жертвы войны, трагические объекты. Что они знают? Жилые, трудовые руки, обкуренные трубки... Сидят у канавы и все рассказывают. Зачем же их убивать? Достаточно, мы им поворачиваем души, сознание.

Я пропитан в силу своего опыта человеческим отношением к людям. И конец войны, мир будет ознаменован не истреблением, не призывом «Убей его!», а мудрым практицизмом и гуманностью. Определенных фашистов будем судить... Но в целом проблема должна быть решена с учетом будущих десятилетий. К этому выводу я пришел твердо!»

И далее:

«...Видимо, по контрасту после похода на Выборг пришла на память «Песнь Песней». Ночью проснулся, схватил книгу,— и почти каждая строка этой феноменальной прекрасной поэмы слита с моими ощущениями. Пишу присланным Вами пером. Благодарю за подарок и очень жду Ваших писем».

...Через два дня после боя за Выборг Вишневский по заданию Военного совета фронта снова выезжает из Ленинграда. И опять любимый Кронштадт. У Всеволода Витальевича было даже желание найти себе там небольшую комнату для работы.

В конце июня 1944 года он пишет:

«...Установились солнечные дни. Каждый день с утра в библиотеке-читальне. В открытые окна видна гавань... Ветерок. Просторный зал, кругом книги, старинная мебель... Днем в городе истама, зелень, журчит фонтан в саду. Резвятся дети, откуда-то из детства слышатся гаммы. Созерцаю все это, и мне удивительно хорошо!»

Вишневский, работая в кронштадтской читальне, пишет книгу о Кронштадте. Ему хотелось создать историческое произведение об

этом портовом городе, о кронштадтских морях, с которыми была связана вся его жизнь. Черновики этой работы хранятся у меня до сих пор. По сути, они являются набросками для второй серии фильма «Мы из Кронштадта». Это глубокие размышления об особенностях второй мировой войны с точки зрения истории флота. Идея России как морской державы. Перипетии борьбы на Балтике, в Кронштадте, Ленинграде...

Увлеченно занимаясь военными исследованиями, писатель в то же время был буквально одержим желанием раскрыть самые сокровенные свойства человеческой души. И чем стремительней приближалась победа, тем сильнее овладевало им желание глубже познать человеческую индивидуальность, ее особенности, развитие традиций. Со всей присущей ему страстью Вишневский ищет ответа на мучившие его вопросы и в классической литературе, и в истории, и в философии. Все больше и больше он уделяет внимания этой теме и в письмах, желя до мыслимых пределов понять человеческую сущность.

Удивительно тонко и точно ассоциируется состояние Вишневского со стихами Пастернака. Позволю себе привести несколько строк:

Во всем мне хочется дойти  
До самой сути:  
В работе, в поисках пути,  
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,  
До их причины,  
До оснований, до корней,  
До сердцевины.

Все время схватывая нить  
Судеб, событий,  
Жить, думать, чувствовать, любить,  
Свершать открытья.

В августе 1944 года, незадолго до освобождения Прибалтики, Всеволод Витальевич пишет брошюру о защитниках Таллина, воевавших здесь в августе первого военного года. Присылает эту рукопись мне, просит прочесть. Настроение у него в эти дни приподнятое. Каждое его письмо было пронизано небывалой гордостью за нашу страну, жадной творчества, уверенностью, что ему еще многое суждено сделать и познать.

В те же августовские дни 1944 года Всеволод Витальевич записывает в дневнике:

«Взял записные книжки и дневники Л. Толстого последнего периода — за 1910 год. Эта книга в свое время потрясла и изумила меня. Как горек, странен и трогателен этот мучающийся старик. Как отчаянны и трагичны все его попытки что-то понять в жизни: кто я?»

Что такое бог? Что такое сознание? и т. д. Это в итоге жизни великого, глубочайшего, прожившего 80 лет человека! И коротко его записи, догадки о смысле человеческой жизни, о любви, об отношении к людям, о чувствовании мира... Читаю, читаю каждую свободную минуту: перечитываю Майкова, Фета, Полонского, Некрасова, размышляю над их биографиями. Прочел томик Тютчева, биографию Боккаччо, историю «Декамерона», этой изысканной книги, где вся страсть в жизни — на пороге смерти — проявлена с такой силой».

Жажда познания человека побуждает Вишневого при всей его невероятной занятости обратиться к книгам таких разных авторов, как Спиноза и Кант, Марк Аврелий и Чарлз Дарвин. А затем снова возвращается к поэзии, читает Байрона, Верлена, Блока, Вячеслава Иванова. Обычно над книгами он засиживается до поздней ночи...

«Вечером читал «Дон-Жуана». Чудесные песни. И как отчаянно предсмертное стихотворение Байрона «Сегодня мне тридцать шесть лет». Невыразимая грусть в эти дни. Дневник застопорился. Мысли о прожитом, о сути жизни, о творчестве. Пугает моя болезнь (гипертония.— М. А.). Душа раздражается. В чем дело?»

Но все же усилием воли Вишневский гонит мысли о своем недуге, который все чаще и чаще дает о себе знать. Сделать хоть маленькую передышку в работе, заняться своим здоровьем Всеволод Витальевич не соглашается ни за что, всякие разговоры на эту тему выводит его из себя. Да и как иначе: впереди решающие битвы за Берлин, впереди капитуляция фашистской Германии, суд над главарями нацизма. И во всем этом ему предстояло участвовать.

Цель поставил он себе, будучи совсем еще мальчиком. Идя к ней, Всеволод Витальевич сочетал в себе отчаянную смелость и большую душевную ранимость. Он страдал за все человечество и терпеливо, сжав зубы, сносил удары судьбы. Вишневский гордился своей эпохой, славил ее и старался всем сердцем донести до потомков ее деяния, страдания, муки и подвиги.

Снова и снова Всеволод Витальевич глубоко изучает, анализирует мировые события и приходит к следующему выводу.

— За «внешними» событиями на Западном и Восточном фронтах таятся внутренние сложные обстоятельства. Рост национализма, особенно в США. Американская реакция усиливается, она насквозь расистская. Аппетиты США грандиозны — вплоть до установления военно-полицейского контроля над миром (вспоминаю эти слова и невольно поражаюсь, как удивительно точно они перекликаются с сегодняшним днем! Будто они датированы не августом 1944 года, а августом 1984 года).

В августе 1944 года Всеволода Витальевича снова вызывают в Москву. В Центральном Комитете партии Вишневскому предложили возглавить журнал «Знамя», редактором которого он был до войны. Он охотно согласился, но просил, чтобы ему разрешили приступить

к работе после освобождения Таллина — города, из которого он в 1941 году уходил на последнем корабле, поклявшись, что вернется сюда одним из первых, — а также оставили за ним право участвовать в штурме Берлина в качестве военного корреспондента «Правды».

Тогда же Вишневский изложил свои принципы работы после войны в журнале «Знамя»:

«Война дала огромный новый поток идей, впечатлений, переоценок. Отражение и суммирование всего этого — дело литературы. В первую очередь в литературных центрах — журналах. Нельзя ни на минуту забывать, что на идеологическом фронте необходимы как никогда четкость и ясность». Обращаясь к истории, он напомнил, что Отечественная война 1812 года наложила огромный отпечаток на развитие общества и литературы. А Великая Отечественная война окажет еще большее влияние. Мировые противоречия остаются, подчеркивает Вишневский, и поэтому остается необходимость обороны. Не спад, а нарастание интереса к военной теме, учету опыта, усвоению его. Надо собирать исповеди, признания, дневники, мечты народа о будущем. Это огромная тема: духовный, эстетический подъем.

В те же августовские дни Вишневский снова обращается к записям и дневникам Л. Толстого с надеждой обрести хотя бы приблизительный ответ, до какого предела способна художественная литература заглянуть в глубины человеческой души.

С каждым днем все больше и больше одолевает Вишневого усталость. Уйма дел сваливается на него. Появляется бессонница, не дают покоя мысли о том, как пойдет работа в журнале «Знамя». И когда наконец он выкроит время для собственного творчества?

Чтобы как-то отвлечься от собственных тревожных дум, Всеволод Витальевич перечитывает «Былое и думы» Герцена, а затем размышляет над «Последними страницами» Анатоля Франса, приходя к заключению, что высказывания писателя о мироздании, об ограниченности человеческих возможностей, о войнах и некоторых социальных перспективах слишком горьки и скептически.

И опять ежедневно читает Ленина: «С наслаждением читаю Ленина. Мысли его стремительные, четкие, смелые. Видит события насквозь! Написал для всех многотиражек КБФ статью «Ленин и военные моряки».

Строки из писем ранней осени 1944 года:

«...Думаю о работе... Вновь с неудержимой силой охватывает меня зов творчества. Я тянусь к своей прозе, к высшим темам ее, неопубликованным. Перебираю все заново, цепеню. Притрагиваюсь к дневникам: война, Таллин, Ленинград, осада Москвы, январь 1944 г., встреча с Вами. Зачем выдумывать сюжеты, когда моя жизнь передо мной. Творческая мысль делает самые дерзкие ходы — я как бы переворачиваю страницы своей вещи, над которой работал



с перерывами с 1930 года и до войны. Я постоянно останавливал себя, был чем-то недоволен, откладывал... Очень бы хотел прочитать Вам некоторые главы, эпизоды... Но читать смогу только в атмосфере полной внутренней гармонии, покоя... Иду к подступам новой работы медленно, трудно, как вообще иду в жизни трудно. Я чувствую, что это должно стать главным делом моей творческой биографии. Положить на стол большую книгу: вот моя жизнь, вот я, вот мы, вот что было с нами за 50 лет... Неимоверно трудная задача. Все сконденсировать, отжать. И быть бесстрашно правдивым. Дать такую книгу — это значит совершить подвиг. Это, конечно, страшит и ужасает! Но я должен в себе это подавить. Я обязан писать такую книгу, чего бы это мне ни стоило. Я сумею рассказать о пережитом и о тоске по миру, красоте, солнцу, морю, берегу, любви.

Сейчас в голове стала складываться простая человеческая драма. Война, история трех-четырех человек, их любовь, их мука... Я понял, что таких историй миллионы. И все это надо рассказать простым языком, доверчиво, не осуждая, не клеймя...

Набрасываю план пьесы, и у меня странное состояние: тревоги, удивления. Процесс художественного изменения фактов вообще так удивителен... В наблюдение вторгаются мои комментарии. Все это так затягивает и жутко и хорошо. Я боюсь рассказывать дальше...

...Не спится. Раскрыл дверь на балкон, тянет ночной прохладой. Неотвязный поток мыслей о жизни, о своей главной книге, которую так хочу успеть написать. Напряженно вопрошаю эту ночную тьму: как же сложится судьба?..

Вы знаете, что меня волнуют очень многие проблемы: общественные, политические, литературные и другие. Я пишу товарищам, интересуюсь их успехами, помогаю, советую, разворачиваю свои концепции по тем или иным вопросам. Но с самым сокровенным, со своими мечтами, противоречиями, извилинами души могу обратиться только к Вам. Вы со своей ошеломляющей интуицией всякий раз так точно улавливаете мои мысли, настроения. Я ждал встречи с Вами многие годы. Тысячу раз благодарю за все! И просто не могу теперь представить мою жизнь, мое творчество без бесед с Вами. Ох, как ценю и как важно предельное человеческое доверие. Как это необходимо моей мятущейся душе!.. Меня охватывает тоскливое чувство стремительности жизни. Лежу и думаю, думаю обо всем своем трудном пути. Я обязан написать обо всем, о самом главном, о большой человеческой правде своего поколения».

Вишневский торопится. Ему необходимо участвовать в боях за Прибалтику. А в ночь перед освобождением Таллина в ленинградском домике на Песочной улице (сейчас на нем установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь с 1942 по 1944 год жил писатель Всеволод Вишневский») записывает в свой дневник:

«...Ночь, читаю Блока. Циклы 1898—1904, 1904—1913 годы.

Петербург моего детства, юношества... Сквозь строки — реальные, почти забытые явления, пейзажи, настроения... Мариинский театр, залитые светом ложи. И вопреки всему моя личная, упоенная тема: борьбы, исканий, войны, подвига!

Я будто пробую перебраться — после тридцати лет скитаний, войны — к тихому берегу... пересыщен движением, стрельбой, бензином, серой гаммой войны. Пропитан войной до отказа! Но я иду, иду вперед — так нужно...

Жизнь должна стать светлой, хорошей, ясной. Мы все тоскуем по ней, а мир содрогается в конвульсиях, люди уничтожают друг друга в жесточайшей из войн, куда-то спешат, орут и не могут прийти к единому великому решению.

...Война идет — долгая, упорная, разрушительная... И брожу я годами с фронта на фронт, с участка на участок, в раздумьях о сути происходящего, о перспективах, в ожидании свершения наших надежд...»

...После Таллина Вишневский направляется в только что освобожденную Ригу. Встреча с городом детства особенно волнует его. Отсюда, именно отсюда, совсем еще мальчиком задумал он побег на фронт первой империалистической войны.

...Осень 1944 года. Вишневский из Ленинграда снова приезжает в Москву. И опять его обуревают сильное желание писать пьесу, но работа в Союзе писателей, частые выступления, подготовка к поездке на фронт не дают возможности сосредоточиться на своем творчестве. В этот период Всеволод Витальевич особенно внимательно читает иностранную прессу, увлеченно занимается своим любимым «Знаменем». Иногда прямо из редакции журнала он приезжает ко мне с новыми рукописями и тут же, усаживаясь в кресло, начинает читать. Иной раз наугад вытаскивает из портфеля рукопись и произносит: «Беру на счастье. Может быть, порадует своей свежестью, убежденностью».

Потом прерывается чтение, и снова начинается беседа...

— Меня очень интересует мое поколение, — говорил он тогда. — Посмотрел статистические данные. В России в год моего рождения — 1900-й — за день появлялось на свет 12—13 тысяч человек. Много! Но детские болезни, первая мировая и гражданская войны, революция унесли столько жизней. Нас осталось очень мало. Судьба моего поколения драматична. В общем, мы, живые «девятисотники», попали в центр полувекового тайфуна.

Удивительно точное определение! И Вишневский, сам попавший в самый центр этого тайфуна, едва дожил до пятидесяти!

Помлод, с какой горечью Всеволод Витальевич поделился и такими мыслями:

— Я знаю, что некоторые писатели меня недолюбливают. Считают: резок, «неистового темперамента», крайних взглядов,

требователен, агитатор, актер. А вот наступит время, когда они — талантливые, молодые, тихие и прочие — будут читать свои новеллы, повести, пьесы, и я, слушая их (если доживу), вероятно, подумаю: «Нет, недаром я прошел свой путь, драм глотку, доказывал, неоднократно был ранен и физически и душевно. Все это — для них».

Говорил Всеволод Витальевич так взволнованно, что слезы навертывались у него на глазах. Видимо, эта тема его очень тревожила, потому что много лет спустя я примерно ту же самую мысль прочла в его дневнике.

...Но вот наконец наступил долгожданный день, когда Вишневецкий стал собираться на фронт. Это было в середине февраля 1945 года. Советским войскам предстояло в скором времени выйти на рубежи Берлина. Вишневецкому, военному корреспонденту «Правды», было необходимо как можно глубже и всесторонне осветить завершающий этап Великой Отечественной войны.

Помню, как Всеволод Витальевич, позвонив мне по телефону, сказал, что в «Правде» обо всем уже договорился и через два дня выезжает на фронт. Днем при встрече он рассказывал уже более подробно:

— Моя поездка утверждена. К берлинскому направлению прибавлен Данциг и Штеттин, где мне как балтийскому моряку побывать нужно, полезно. Путеводитель по Берлину взят, карты тоже, минимум белья, надежное кожаное пальто, оружие. Много увижу и, будьте покойны, постараюсь дать полный ленинградский накал в работе и ударах. На душе бодро, светло. Путь мой закономерен. Войну надо завершать в деле, в прямом ударе и именно в логове врага.

...Накануне отъезда на фронт Вишневецкий пригласил меня совершить нашу традиционную прогулку. День был въюжный, ветреный. Мы встретились на набережной у Каменного моста и спустились к Москве-реке. Бодро шагая по ледяной реке, мысленно то возвращаясь в прошлое, то заглядывая в будущее, мы старались не касаться предстоящего отъезда.

— Как быстро летит время, вот уж больше года, как мы с вами ведем беседы: о войнах, о мире, ждем с нетерпением победу и надеемся на все лучшее. Вы вслушиваете мои романтические мечты. Порой делаете замечания: «Всеволод, спуститесь на землю». Я слушаю, но, увы, без мечты я не могу существовать. Уж такая натура...

И все же под конец нашей прогулки мы заговорили о боях. Эта тема волновала нас обоих. Особенно меня. Я знала, что Всеволод Витальевич будет выполнять не только обязанности военного корреспондента «Правды», но и станет непосредственно участвовать в боях. Ведь он поклялся в осажденном Ленинграде, что отомстит Гитлеру за родной город. И я знала, что он свою клятву обязательно выполнит.

Со всей силой убеждения я просила Всеволода Витальевича быть осторожным, не лезть в самое пекло, доказывала, что ему еще надо

много сделать, о многом поведать читателю. Но я понимала, что все мои уговоры бесполезны: Вишневский не привык себя беречь, это было бы противоестественно для него.

Прощаясь на углу Лаврушинского переулка, я, по русскому обычаю, трижды его обняла, благословила. Говорила, что все будет в порядке, что он вернется с победой.

Почти на каждом историческом этапе совершаются события такой грандиозной значимости, такого грандиозного масштаба, что, достигая кульминационного момента, они определяют дальнейший ход истории. Путь к этому звездному часу, который органически связан с народной правдой, очень тернист, невероятно труден, он требует колоссального напряжения, а порой и огромных жертв. Но как счастлив тот, кто его достигает. Мне кажется, это вершина человеческого счастья!

Вот такое состояние пережил Всеволод Вишневский в мае 1945 года.

Всего несколько человек находились в той комнате штаба 8-й армии, где советские военачальники Чуйков и Соколовский вели переговоры с немецкими генералами Кребсом и Вейдлингом о капитуляции Берлина, и среди этих немногих участников исторического события был Всеволод Вишневский. Ему, военному корреспонденту «Правды», суждено было двое суток подряд записывать ход этих переговоров. Немела рука, он доходил до полного изнеможения, но ни на минуту не прерывал своих стенографических записей. И когда Василий Иванович Чуйков спросил: «Всеволод, ты все пишешь, где берешь силы? Разберешь ли потом?» — Вишневский ответил: «Военная закалка спасет, память подскажет».

И память, и чутье художника, и его талант многое подсказали. Глава его дневника «Капитуляция Берлина» — огромной силы исторически-документальное произведение, которым будут зачитываться многие поколения.

...Восьмого мая 1945 года Вишневский прилетел из Берлина в Москву. Радостный, возбужденный, захлеб рассказывал обо всем, что пришлось увидеть, пережить. И, несмотря на трудности походных условий жизни, несмотря на то, что сутками приходилось не спать и не есть, быть все время в страшном напряжении, Вишневский выглядел так молодо, был таким оживленным и счастливым, каким мне редко случалось его видеть.

Никогда не забыть вечер восьмого мая. Я слушала взволнованный рассказ Всеволода Витальевича, и вдруг так же, как в день нашего знакомства, в этой же самой комнате, нашу беседу прервало радиосообщение о долгожданной Победе.

Сообщения Совинформбюро ждали с минуты на минуту. Услышав взволнованный голос Левитана, объявившего о Победе, мы умолкли,

не находя слов. Потом кинулись поздравлять друг друга. Вишневский сказал: «Здравствуй, долгожданная, дорогая, выстрадавшая Победа! Здравствуй навсегда!»

Сидеть дома было невозможно, мы выбежали на площадь Курского вокзала, где уже собралась толпа. Слышались радостные восклицания. Кого-то качали, целовали, поздравляли. Это было всеобщее народное ликование, длившееся несколько суток подряд! В толпе мы увидели моих соседей по дому: Михаила Васильевича Куприянова (одного из Кукрыниксов) и его жену Евгению Соломоновну. Они пригласили нас к себе.

За праздничным столом мы проговорили до утра. Это была незабываемая ночь, майская, короткая ночь, которую сменил длинный, радостный день — 9 мая!

...Спустя две недели после этого незабываемого дня Вишневский, выступая на собрании в Союзе советских писателей, подчеркнул, что победные салюты еще не означают, что можно сбросить военный китель, отложить оружие и заняться своими личными делами. Нет, еще будут большие и серьезные события.

— Войну и трагедию, пережитую народом, нам не забыть. Надо зорко наблюдать за горизонтом и быть всегда наготове. Мы, писатели, — говорил Вишневский, — обязаны действовать. Необходимо произведения подлинной правды. Поэтому мы должны изучать военно-научные материалы, идти в отделы штабов, беседовать с работниками этих отделов, с бойцами, офицерами, ибо это поможет правильно и глубоко осветить войну.

На этом же собрании он счел необходимым сказать о воплощении темы любви в современной литературе.

— Раскройте глубоко, — обращался он к своим коллегам, — отношения современных мужчин и женщин. Покажите это святое, большое чувство. Пусть кто-нибудь из писателей наконец скажет: «Остановитесь, молчите благоговейно — вот история двух людей во времена войны и мира. Они встретились, полюбили друг друга, прошли жизнь трудную! Снимите шапки, потому что это — то большое, личное, что было в их короткой жизни». Верю, что найдется такой писатель, который не поверхностно подойдет к этой теме, а вскроет ее глубоко, со всеми противоречиями, сложностями, со всей обнаженной правдой!

Заканчивая свою речь, Вишневский обращался к молодым литераторам:

— Вам предстоит вместе с нами, если мы, старшее поколение, доживем, создавать реальный свободный мир. Как это грандиозно и как это прекрасно!

...Лето 1945 года пролетело незаметно. Только-только Вишневский успел взяться за свое «Знамя», наметить ряд тем, как жизнь заставила его лететь в Нюрнберг, принимать участие в суде над фашистами.

Невероятные муки переживает Вишневский, находясь в Нюрнберге. Он воочию всматривается, слушает речи подсудимых — этих страшных, жесточайших представителей фашизма, которые истребили десятки миллионов ни в чем не повинных людей. Как вообще мог появиться фашизм? Какова его природа и сможет ли он возродиться вновь в каком-то ином, может, более завуалированном виде? Все эти мучительные вопросы не оставляют ни на минуту Всеволода Витальевича. Он ведет буквально исследовательские раскопки, погружаясь в иностранную прессу. Читает все в подлиннике. Вишневский владел свободно несколькими языками. Здесь, в Нюрнберге, участвуя в процессе, он как бы завершает свой цикл войн.

Работает здесь Вишневский по 18 часов подряд. В 8 часов 45 минут он приходит первым в зал заседаний и занимает место среди отведенных прессы. Тут же начинает все подробно записывать своим мелким почерком. И так до 18 часов с небольшим перерывом на обед. Вечером, кроме того, что он пишет и систематически передает в «Правду» свои корреспонденции, он еще буквально вгрызается в различную специальную литературу, ибо хочет во всем дойти до самой сути, чтобы потом все более точно донести до потомков. Душа его буквально разрывается от сложнейших вопросов, которые неумолимо преподносит эпоха. И Вишневский неустанно мучается и вопрошает: когда же наконец обретет хоть относительный мир человечество? Все это, конечно, сказывалось на здоровье, нервное напряжение было уже на пределе.

Но вот наконец наступает некоторый перерыв на процессе, он вызван рождественскими каникулами, во время которых Вишневский совершил поездку по Германии.

...15 марта 1946 года Всеволод Витальевич вновь пишет мне о своих привычных раздумьях о будущем мира.

«...Продолжу о настроениях в Европе и США. С 6 августа 1945 г. — разрыва первой атомной бомбы — началась новая эпоха... В руках людей новое, исключительное, небывалое по силе средство. Старик Б. Шоу заметил по этому поводу: «Раз человечество стало играть с атомом, я бы хотел сделать замечание о том, чем это может кончиться... В астрономии говорят о «новых звездах». Это означает, что старая, маленькая звезда неожиданно взорвалась, испуская лучи и туманы... Это может произойти и с нашей Землей. Излучением атомной энергии можно внезапно превратить Землю в крематорий. Сейчас разлагают уран, завтра найдут новое вещество и уран покажется слабым, как простой порох... И однажды внезапно Земля превратится в «новую звезду»!..

Другие видят в открытии другие стороны, перспективы. Новое открытие делает все старые военные средства изжитыми...

Невозможны архаические формы XVII века, когда в науке открываются перспективы XXI века... Корнем войн является страх,

боязнь потери средств к существованию и надежда добыть их у других...

...Миру действительно — во имя его оздоровления — необходимо здоровое плановое начало. Кто может его дать? Сильнейший, опытейший, не заинтересованный в наживе...

Реально мы... На эту роль, однако, претендуют и США — с их развитым экономико-техническим и производственным аппаратом... Англия, чувствуя явный недостаток сил, стремится подстроиться к США и сохранить для себя возможно больше...

...Страх перед неизбежными великими переменами, страх за свои «места», льготы, привилегии, деньги — у имущих классов неимоверен... Однако события должны неуклонно развиваться в сторону дальнейшей демократизации и революционизации мира — в первую очередь Европы и Азии...

Мир — даже при современных здоровых плановых началах — мог бы без труда нести на себе 5—8 миллиардов здоровых, устроенных, одетых, сытых людей...

Попробую еще конкретизировать... Сейчас неисчислимые силы и средства везде тратятся на нужды истребления... Это тяжкое бремя, наследие атаквистических времен (что было бы, если расходы 1939—1945 гг. направить на главные нужды людей — на постройку хороших жилищ, на устройство садов, парков, на медицинские изыскания, на одежду и т. д.?).

Так или иначе, люди располагают огромными возможностями... Высвобожденная и по разумному плану направленная энергия могла бы дать в ближайшие пятилетия грандиозные общие сдвиги...

Во всяком случае мы, Россия, СССР, сделаем многое для того, чтобы стабилизировать этот перебудораженный, нервный до предела, усталый мир.

От иллюзий быстрой весны и т. д. мне пришлось идти по трудным и долгим (нервно-трудным) дорогам медленной стабилизации. ...Еще я понял: в юности своей я был дичком и как-то по-своему годами брел один... Сейчас я безумно хочу дружбы, доверия, тепла... До иступления... И этот поток все сильнее — в нем все элементы моего бытия... Это состояние особое, бесконечно ценное, очень трудное... Я часто представляю себе наши будущие беседы: без идеализации, — но я годы не знал более высокого, светлого состояния души, чем на прогулках с Вами... То это — безотчетное, солнечное на нашей улице Горького, то зимой за городом, то в арбатских переулках, то на Воробьевке, то на Москве-реке. Я так дорожу тем, что Вы знаете и любите мою Балтику. Мне безумно хочется в жизни светлого, хорошего, хочется выпрямиться, сказать, что я не согнут, не отравлен войнами, драмами, не поддался никакому яду усталости... Мне хочется радостного, дерзкого ощущения творчества...

Будем идти навстречу событиям с ясным духом, решимостью и с сознанием своей силы, опыта, правды...

Пусть да будет так. Будут годы без войны. Пусть желанная передышка позволит вздохнуть полной грудью, пусть будет жизнь легче и ясней.

Я живу страстным, безмерным желанием видеть жизнь умиротворенной, здоровой, красивой».

Вишневский не оканчивал никаких высших учебных заведений. Его университетом была сама жизнь, до предела активная и в какой-то степени трагическая. И он сам, исключительно сам, своим стремлением все познать, во всем дойти до самой сути, преодолел путь от матроса-братишки до военно-политического деятеля, известного писателя с очень яркой художественной индивидуальностью, с свойственным ему философским мышлением, высокой культурой, умением не только заглядывать в будущее, но и упорно прокладывать путь в это будущее!

Несмотря на свое расшатанное здоровье, которое все чаще и чаще заставляло прибегать к лечебному и даже больничному режиму, Вишневский снова и снова взваливает на себя невероятные нагрузки, берется за разрешение сложнейших задач — иначе не представляет себе жизни.

— «И от судеб защиты нет»? — вспоминая Пушкина, вопрошает Вишневский. И тут же отвечает твердо и решительно: — Есть защита. В необоримом духе человеческого, бросающем вызов судьбе и даже самой смерти!

Вот, кажется, и война окончилась, можно наконец отдаться долгожданному счастливым минутам творчества. Но Вишневский не был бы самим собой, если бы целиком посвятил себя только писательской работе. «Кончились лишь военные операции, но не война», — утверждал он.

Пристально всматриваясь в горизонт, он видит, как там опять начинают гсущаться тучи. Впрочем, еще будучи в Нюрнберге, зорко наблюдая за американскими представителями, за американскими воинскими частями, он заметил в их поведении черты неофашизма.

— Американский фашизм еще страшней, еще отвратительней немецкого, — утверждал Вишневский.

Привыкший к всестороннему и точному изучению международных событий, Всеволод Витальевич просто не в состоянии ни на один день отключиться от этого. И теперь, вернувшись из Нюрнберга, он вплотную занимается научными исследованиями, детально изучает историю США и Англии и приходит к выводу, что американские правители лезут напролом да еще тянут на буксире англичан.



— Но если наша страна, наш народ,— рассуждал Вишневский,— гнали Гитлера от Волги до Эльбы, то сумеем и других погнать еще дальше. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Пусть Америка никогда этого не забывает!

«Шшш, Америка, тихо!» — это реплика одного из героев Вишневого, прототипом которого явился сам автор...

Весной 1947 года по командировке ЦК ВЛКСМ я уехала в Таллин для организации Всесоюзной выставки детского изобразительного творчества.

Всеволод Витальевич проходил курс лечения в санатории «Барвиха». В одном из своих писем он писал мне оттуда:

«Я очень рад, что Вы в действии, в политической работе. А ведь идея даже от простых детских рисунков, можно вести большие темы: и строительства, и труда пятилеток, и истории СССР, и войны, и братства национальностей и т. д. Можно подумать подробно, развить серию тем. Главное — политическая насыщенность, живость, образность. Закрепляйте эту свою работу, расширяйте ее. Сообщите мне все свои соображения по этому поводу. Вы взялись за дело большое, и я рад безмерно. Суть Вашей работы высокая, политическая. Вы нащупали верные пути для работы: молодежь, темы внутренней культуры, литературы, живописи, истории современной науки... С чувством радости вижу, что Вы что-то взяли от меня хорошее, а главное — развиваете свои лучшие черты: активность, деятельность.

...Я медленно отхожу, глотаю воздух, брожу по лесу, вдыхая запахи и порой растворяясь в природе. Если бы Вы знали, какая у меня потребность в тишине. Я сижу над грядками, смотрю на листки. Выпускаю бьющихся о стекла ос и шмелей... Заглядываю в дупла деревьев. Любуюсь белками, которые носятся по ветвям... Распознаю ароматы, которые так долго были отняты войной. Делиться ни с кем не могу. Хотя люди приходят, спрашивают о том о сем. Но я так устал, что литературные визиты меня порой утомляют.

Беру в библиотеке книгу за книгой по истории русской общественной мысли, культуры. Прочел также несколько книг о Горьком, Лермонтове, Репине. Регулярно веду записи. На душу сходит покой. Нет болезненной нервозности и метаний последних лет. Мира и покоя хочу сильно, очень сильно! Помогите мне это сохранить. Вот послезавтра День Победы. И я помню, как Вы меня провожали в поход на Берлин. Ваше благословение было так сильно, так свято! Оно спасло меня, и я не забуду этого до конца своих дней!..

Я, слава богу, не воюю, не устремлен в очередную командировку, а просто, как и все в стране, вхожу в мирную колею. Обозреваю труднейшее десятилетие 1937—1947 годов, отданное борьбе, войнам, походам. Что-то начинает отстаиваться, складываться внутри».

Насколько же коротка была эта передышка! Осенью сорок седьмого года Вишневский снова летит в очередную командировку — в Берлин,

на Первый конгресс писателей свободной Германии, куда съехались представители многих стран. Выступая на этом съезде, он взволнованно говорит о том, что фашизм во всех его проявлениях должен быть и будет стерт навсегда с лица земли. А дружба немецкого и советского народов будет непрерывно крепнуть и развиваться. Вишневский рассказывает об истории и богатых культурных традициях Германии. Представители литературы немецкого народа, слушая речь русского писателя-коммуниста, устраивают ему бурную овацию.

Вернувшись в Москву, Вишневский целиком отдается делу становления послевоенной литературы. Ведь совсем не сразу появились в журнале «Знамя» новые талантливые авторы. Некоторые из них приезжали по приглашению Вишневского с Урала, из Сибири. С какой сердечной чуткостью и заботой привечал их главный редактор «Знамени»! Всеволод Витальевич сумел создать в редакции обстановку доброжелательства и творческой увлеченности. Самый тон Вишневского, всегда простой, сердечный и в то же время деловой, способствовал творческой, доверительной атмосфере, все сотрудники понимали, что делают одно общее, очень важное дело, стремились «укрепить «Знамя» на самой вершигоре», — если вспомнить шутовское замечание Кукрыникова.

Вскоре после войны в «Знамени» появились такие значительные произведения, как «Спутники» и «Кружилиха» Веры Пановой, «Жатва» Галины Николаевой, стихи Александра Межирова «Коммунисты, вперед!», «Звезда» Эммануила Казакевича, «Люди с чистой совестью» Петра Вершигора и другие.

Многие из поступавших в редакцию рукописей главный редактор читал сам, сам отвечал авторам. Критика его порой была резка и нелюбезна, но зато как радовался он, обнаруживая талантливое произведение! Он не мог таить эту радость ни минуты, принимался тут же звонить или телеграфировать автору, оповещал и своих друзей. Иногда его звонки раздавались среди ночи. Николай Семенович Тихонов рассказывал, как Вишневский разбудил его в четыре часа ночи и просил немедленно прийти к нему читать «Кружилиху» Пановой. Еле-еле Тихонов уговорил его дожидаться утра!

Не могу не рассказать и о таком случае. Как-то, по-моему, это было осенью 1946 года, я уехала на три дня под Москву, в Солнечногорск. Когда поздно вечером я вышла за калитку дома отдыха, мне показалось, что за деревьями промелькнула фигура Вишневского, но это было столь невероятно, что я не поверила своим глазам. И действительно, как мог в столь поздний час появиться здесь Всеволод Витальевич? Но тем не менее это был он. Усталый, измученный, голодный, с толстым, тяжелым портфелем, он еле стоял на ногах.

Оказывается, позвонив мне по телефону, Вишневский узнал, что я выехала в Солнечногорск и через два дня вернусь. Ждать целых

два дня было невозможно. И потому в два часа дня, закончив дела в «Знамени», он выехал на электричке искать меня в Солнечногорске.

Что же заставило его так срочно приехать сюда? Оказывается, «Звезда» Эм. Казакевича.

— Вы даже не представляете, как это талантливо, как точно и душевно написано о войне, это событие в литературе, вы понимаете — СОБЫТИЕ, и ВАЖНЕЙШЕЕ, — говорил короткими, рублеными фразами, идущими откуда-то из самых глубин, Вишневский.

Он так всегда выражал свои мысли, когда волновался.

— Вы должны это читать немедленно, понимаете, немедленно!

Но я понимала одно: что я должна немедленно найти еду и комнату, где бы Всеволод Витальевич мог отдохнуть и выспаться после столь длительного перехода — как выяснилось, разыскивая меня, он прошагал около 20 километров. Пришлось идти будить директора дома отдыха и популярно ему объяснить, что произошло событие в литературе и по сему случаю необходимо срочно накормить и уложить спать Всеволода Вишневского.

...«Звезда» действительно оказалась очень яркой, и, конечно, нельзя было не радоваться ее появлению.

Когда я об этом сказала Вишневскому, он был очень доволен.

— А вы меня ругали, зачем примчался? Почему не дождался вашего возвращения? Как же можно ждать, когда в литературе такое важное, радостное событие? Даем «Звезду» в очередной номер!

Читая «Звезду», слушая Вишневского, я мысленно перенеслась в далекий декабрьский вечер 1923 года, когда А. С. Серафимович впервые читал свой «Железный поток» у нас дома. С отдельными главами своего романа Александр Серафимович знакомил моего отца еще в процессе работы. Ангарский, как я уже упоминала, возглавлявший издательство «Недра», сразу высоко оценил «Железный поток». Помню, как он радовался успеху автора, как заранее готовился к этому вечеру, оповещал писателей, сообщал, что будет прочитано талантливейшее произведение! И вот собрались многие известные писатели. Слушали Серафимовича с неослабным вниманием, а потом говорили, что в этом произведении виден не только талантливый художник, но и писатель-коммунист, преданный своему народу, хорошо знающий его психологию, верящий в его будущее.

После чтения перешли в нашу небольшую столовую, где был накрыт стол со скромной закуской, но с бутылками шампанского. Подняли тост за успех Серафимовича, за рождение талантливого произведения, которому сулили большую жизнь, за праздник литературы.

В начале 1924 года «Железный поток» был напечатан в альманахе «Недра», в том самом номере, в котором были опубликованы «Роковые яйца» Михаила Булгакова.

Ангарский ценил талант Булгакова и всячески способствовал тому, чтобы многие его произведения увидели свет.

В «Роковых яйцах» автор рассказывает о профессоре-селекционере, который, проводя опыты с курами, добился того, что они стали нести яйца необыкновенных размеров и в огромнейшем количестве. К этому профессору приходит журналист брать интервью. Первый вопрос его был такой: «Что вы скажете за кур?» Профессор с искренним изумлением спросил журналиста о том, как он, не владея русским языком, будет писать статью?

Мой отец, тонко чувствовавший юмор, часто повторял фразу «Что вы скажете за кур?». В редакции «Недра» она стала крылатой. Когда Ангарскому приходилось отвергать слабую рукопись, он говорил: «Не пойдет по причине «Что вы скажете за кур?».

...Вишневский заливался хохотом, слушая мой рассказ. Потом часто повторял:

— Знаете, очень грустно, но пришлось опять читать «Что вы скажете за кур?».

О литературных вечерах, устраиваемых моим отцом, на которых присутствовали и сотрудники «Недр» и авторы, Всеволод Витальевич расспрашивал подробно, ему это нравилось. Да и он сам умел праздновать рождение талантливого произведения.

Вишневский гордился успехами каждого автора, пожалуй, гораздо больше, чем своими собственными. Неоднократно повторял он, что ему дорога литература, а не только собственное творчество, и это было истинной правдой.

Чрезвычайное внимание Вишневский уделял языку. Ведь именно язык, утверждал он, определяет стиль писателя да и вообще человека, его сущность, личность.

Вот что записывает Всеволод Витальевич в своем дневнике:

«Преподавание русского языка и литературы в учебных заведениях необходимо кардинально улучшить. «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Пусть вся сила этого языка, краса его и гибкость будут с ранних школьных лет привиты каждому советскому гражданину!»

Письма Вишневского к литераторам, его отзывы на рукописи зачастую превращались в обширные рецензии, эссе, в которых он не только подробно разбирал произведения современных писателей, но и делился своими размышлениями о классической литературе прошлого.

В одном из писем Всеволод Витальевич мне писал:

«Меня очень интересуют и тревожат писатели прошлого. Как живые предшественники нашего поколения стоят они передо мной. Я стал глубже их понимать. Опытом своим ощущаю их опыт, их нравственные муки при попытках решать крупнейшие человеческие

душевные вопросы. Читаю и просто сжимаюсь от боли, потому что за каждой строкой чувствую обнаженные нервы.

Вижу чахоточного Белинского с пятнами крови на рубашке, с воспаленным взглядом, упорствующего, видящего будущее России, нас, людей сороковых годов XX века, и слышу его слова о русском народе, о его правде и мощи. Возглашающий одним из первых высшие идеалы русской литературы, Белинский безбоязненно разговаривал с любимым из писателей. Он потрясал литературу и общество своими мечтаниями, статьями, проклятиями и благословениями. Это он требовал, чтобы «художник был сыном общества». А о тех, кто прокламировал отвлеченные от политики или подсовывал свои крайне субъективные оценки, он говорил: «Такой мыслитель дурной, злонамеренный, достойный проклятья». Эти слова звучали век назад, но они живы сегодня! В самом деле, разве не слышно страстного голоса Белинского, убеждающего в том, что в писателях общество должно видеть не потешников, а представителей, глашатаев духовной, идеальной правды, людей, дающих ответы на труднейшие вопросы жизни... Разве не слышны его слова о том, что писатель корнями должен уходить в почву общественности и страданиями своими создавать художественные произведения».

А буквально через день он сообщает, что письмо ко мне преобразовалось в боевую статью о традициях русской революционно-демократической литературы:

«Пришла в голову мысль дать в «Знамени» серию литературных острых портретов: Белинский, Чернышевский, Михайловский, Добролюбов. Сочетать их с современностью. Показать их светлую природу, их облик, круг их идей, их борьбу. Да, такая серия необходима. Мы ее дадим в ближайшее время!..»

Все жанры литературы волнуют Вишневого, особенно глубоко он погружается в проблему небольшого рассказа, новеллы. Перелистывая газеты, журналы, обнаруживает, что рассказу не уделяется должного внимания и оплата его очень низкая. И вот уже Всеволод Витальевич занимается этим вопросом вплотную. Он берет с книжной полки Чехова, Горького, определяет, что у Чехова 95% рассказов в пол-листа и менее.

— Маленький рассказ — это наитруднейший жанр литературы, — рассуждает Вишневецкий. — Надо суметь на маленькой площадке поднять большие проблемы жизни, человеческих отношений, заинтересовать читателей разнообразными темами. Постичь искусство короткого рассказа — задача очень сложная. Необходимо стимулировать такой труд, — приходит к выводу Всеволод Витальевич. Выяснив, что за рассказ в среднем платят 100 рублей (из расчета 300 рублей за лист), он считает, что это механическая ставка. Необходимо, по его мнению, платить за журнальный хороший рассказ четыреста — пятьсот рублей.

Этот проект Всеволода Витальевича был обсужден на президиуме Союза писателей и полностью поддержан.

Всеволод Витальевич придавал большое значение критике. Он считал, что, разбирая то или иное произведение, критик обязан глубоко изучить художественную индивидуальность писателя, проникнуться его мироощущением, войти в круг его интересов.

«Я очень люблю свой журнал, люблю заниматься рукописями, авторами, выискивать новых молодых писателей, радоваться их радостью... Это живой процесс литературы».

Вишневский делился с писателями не только литературным опытом, знаниями, но и материалами из своего архива, а если обнаруживал, что нужные товарищу материалы в его архиве отсутствуют, стремился помочь достать их в других архивах или библиотеках.

Так, например, для Леонида Первомайского он разыскал очень важные детали, относящиеся к выступлению В. И. Ленина на III съезде комсомола, и сопроводил их такой запиской: «Снова обращаю ваше внимание, Леонид, на необходимость всемерного оснащения романа конкретными деталями. Они избавят роман от привычных повторяющихся черт». Александру Силычу Новикову-Прибою Вишневский послал сведения о флоте, относящиеся к февралю 1917 года. Лью Славину сообщил подробности о последних днях ставки Гитлера, о капитуляции Берлина и так далее.

Спустя несколько лет после смерти Вишневского Константин Александрович Федин рассказывал мне, какую большую помощь оказал ему Вишневский в подборе материалов для «Необыкновенного лета».

— Всеволод Витальевич прислал мне ценнейшие документы, записи о гражданской войне на Волге, забота его была поистине беспредельной, — вспоминал Константин Александрович. — Подумайте только, не успел я получить от него ряд документов, как буквально на следующий день он высылает мне еще: статьи, книги, выписки из своих писем, воспоминания генерала О. И. Городовикова и других видных деятелей, да еще в придачу ко всему свой большой и очень редкий альбом «Первая Конная» с трогательной запиской, в которой сообщал, что все последние дни думал о моем романе и в связи с этим высылает новые материалы о 1919 году. Причем разрешает их полностью использовать. Удивительный, просто редкостный человек. Он был первым, кому я дал читать «Необыкновенное лето». Какие точные и верные замечания он сделал, и не только письмо написал, а целую пространную рецензию на двадцати страницах. Абсолютно все подметил. Неловко, что столько времени он посвятил моему роману. Сказал я ему об этом. А Всеволод Витальевич мне на это ответил: «Литература, Константин Александрович, — наше общее дело, мы все в ней заинтересованы и должны друг другу помогать».

Должны-то должны, и все, конечно, стремимся к этому, но делать это так самозабвенно, так увлеченно, как Вишневский, далеко не всякий способен. Подумайте сами: отдавая столько сил и времени другим, он просто физически не успевал заняться собственным творчеством. А ведь был так талантлив, редко талантлив, — подчеркнул Федин. — И все же, когда я просматривал его посмертное собрание сочинений в шести томах, то поражался: когда он успел столько написать и, главное, так точно, образно, совершенно по-своему сумел отразить эпоху.

Вишневскому был очень близок Маяковский. Несомненно, у него, агитатора Великой Отечественной войны, была глубокая духовная связь с Маяковским — агитатором времен войны гражданской, основателем Окон РОСТА.

Всеволод Витальевич очень гордился той высокой оценкой, которую дал Маяковский его пьесе «Первая Конная», и часто жалел о том, что им так и не удалось лично познакомиться.

В одну из бессонных ночей Всеволод Витальевич вспомнил, что в 1912 году Маяковский читал стихи своему другу художнику Бурлюку, когда оба они шли от Мясницких ворот (ныне Кировских) к Сретенскому монастырю (Пушкинской площади). И тут же решил сам проделать этот маршрут.

Ночью у меня раздался телефонный звонок. Подняв трубку, я услышала взволнованный голос Всеволода Витальевича. Он спросил, что я делаю. Я ответила довольно лаконично:

— Сплю!

— Жаль, — проговорил Вишневский, — а я хотел вам предложить пройтись со мной по маршруту Маяковского. Я сейчас нахожусь у Кировских ворот, звоню с почтамта. Очень вас прошу — составьте мне компанию. Правда, погода неважная: сыро, ветрено, дождь со снегом идет, но ничего, это даже подбадривает. Возьмите такси и подъезжайте сюда. Хорошо?

Я ворчливо ответила, что не хорошо, а очень плохо будить людей по ночам и тащить в сырую ветреную погоду совершать литературные маршруты. Советую вам уюмониться и выспаться, закончила я разговор и положила трубку.

На другой день я получила письмо, в котором Вишневский сообщил, что обижен отказом.

«Я шел под гору к Трубной, — писал он, — ветер дул в лицо, пронизывал насквозь. Вот тут тридцать шесть лет назад Маяковский читал свои первые стихи, басил на бульваре... Девятнадцатилетний парень, заряженный отлично... Было острое ощущение и от дум и от мозговой и духовной высвобожденности. Пришел под самое утро домой и тут же записал все свои мысли. Я был потрясен! Знаете, чем? У Маяковского от первых его стихотворений («Скулы океана», 1913 г.) до последних стихов («Во весь голос») проходит сплетенная

с судьбой морская революционная тема: тут и навеянная ночными занятиями Кронштадта «Военно-морская любовь» — шутка пополам с трагедией (1915 г.), и «Левый марш» (1918 г.), и революционные стихи, и Крым, и матросы революции, и «Теодор Нетте», и стихи детям о плаваниях, и «Атлантический океан», и «Хорошо!», и прочее. Я все до последней строчки выверил и был потрясен. Тема, меня невероятно занимающая. Видимо, я об этом буду писать!..»

Урывая короткие мгновения от текущих дел, которых скапливалось все больше и больше, Всеволод Витальевич приступает к разбору своего военного архива. Все чаще его одолевала годами скапливавшаяся усталость, но Вишневский не поддавался ей. Выйти из строя невозможно, стоять до конца было его непререкаемым девизом.

Как обычно, он внимательно следит за событиями на международной арене, читает комплекты иностранных газет и журналов и снова и снова возвращается к работам Владимира Ильича Ленина, у него он находит ответы на вопросы, связанные с важнейшими мировыми проблемами.

..Нет, не случайно поставила я эпиграфом к этим воспоминаниям строки Ольги Берггольц. Через открытое всем тревогам и заботам сердце писателя говорила сама эпоха. И эта слитность со своим временем являлась едва ли не самой органической чертой его личности.

Жадно вслушиваясь в каждое слово эпохи, в каждый ее звук, Вишневский создавал летопись. Он любил свою эпоху преданной сыновней любовью, деля с ней радости и горести, участвуя в ее свершениях.

Многое из того, что рассказала эпоха, он отразил в своем творчестве, предельно взволнованно, не утаив ни ее ужасов и мрака, ни ее огромных побед и торжества.

В своей главной книге он мечтал рассказать такую высокую правду о своей эпохе, о своем поколении, о его борьбе и творчестве, любви и мечте, которой поверили бы и через много лет, которая была бы абсолютной правдой.

В некоторых письмах он, по существу, набрасывал черновики своей главной книги. Сюжетной канвой ее должна была стать вся его жизнь, начиная с детских лет и кончая последними годами. Он хотел переплавить в художественную, эпическую форму и свои дневники, и речи (особенно во время блокады), и беседы, и письма.

Да, в этих письмах, несомненно, отражена эпоха. И потому я сочла необходимым, чтобы в моих воспоминаниях как можно больше говорил сам Вишневский.

Жизнь и смерть — главная тема Вишневского, проходящая через все его творчество. Он бесстрашно ведет своих героев по самой кромке бытия, там, где жизнь граничит со смертью, и всегда — навстречу



жизни. Гибель своих героев Вишневский трактует отнюдь не как смерть. Наоборот, категорически ее отрицая, он со всей силой своего темперамента убеждает в том, как непоколебимое мужество помогает выдержать последнее жизненное испытание. Один из героев «Оптимистической трагедии» спрашивает своих товарищей: «Есть ли смерть для нас?» — «Нет смерти для нас!» — И полк строевым шагом идет к месту казни, идет в бессмертие!..

И снова Вишневский во власти творчества. Работая вместе с режиссерами и актерами над воплощением на сцене своей новой пьесы, посвященной гражданской войне, боям на Красной горке под Петроградом, он одержим новыми замыслами. Всеволод Витальевич давно мечтал о центральной теме человечества — теме коммунизма. Он видит уже картины своей будущей пьесы, радуется тому, что слышит отдельные реплики героев, улавливает что-то главное, грозное, голос самой истории. Мысли вспыхивают, словно искры, и Вишневский делает поспешные записи, чтобы не забыть, не упустить. Он бесконечно счастлив, целиком захвачен, просто одержим новой пьесой, но, увы, ей не суждено было увидеть свет...

Беспокойное сердце Вишневого не смогло больше выдержать такого высокого накала, и он вслед за своими героями ушел в бессмертие...

...Но разве сегодня не звучит его страстный, призывный голос, напоминающий о том, что литература — дело партийное, что художник, являясь совестью народа, обязан все его великие свершения отражать ярко, образно, правдиво и бесстрашно бороться за взлет человеческого духа, за торжество мира на всей Земле!

**Мария Николаевна АНГАРСКАЯ**

**ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ  
ЖИЗНЬ**

Редактор Д. К. Иванов  
Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 13.08.84. Подписано к печати  
12.11.84. А 00452. Формат 70×180<sup>1/32</sup>. Бумага  
газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная  
печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,12.  
Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 90 000 экз. Изд № 3008.  
Зак. № 3364. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции  
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



### **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

● Ежемесячно Вы обращаетесь в сберегательную кассу, чтобы уплатить за квартиру, электроэнергию, газ, телефон, за детский сад, ясли, обучение детей в музыкальных школах и т. д.

● Одним из видов услуг, предоставляемых сберегательными кассами вкладчикам, являются **БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ**. Пользуясь ими, можно экономить свое время и, не посещая сберегательной кассы, производить указанные платежи.

● По Вашему поручению сберегательная касса будет перечислять с Вашего лицевого счета по вкладу до востребования в обусловленные Вами сроки платежи в пользу любой организации на протяжении квартала, года или впредь до отмены этого поручения.

● Сберегательной кассе можно дать поручение и на перечисление какого-либо платежа в разовом порядке. Такое поручение можно также переслать по почте.

● Бланки для оформления длительных и разовых поручений по безналичным расчетам вкладчик может получить в любой сберегательной кассе.

● Экономьте свое время! Пользуйтесь безналичными расчетами сберегательных касс!

Российское республиканское  
Главное управление Гострудсберкасс СССР